

1989

БИБЛИОТЕКА  
«КОМСОМОЛЬСКОЙ  
ПРАВДЫ»

ISSN 0132-2138



6

Леонид Репин

ДАЛЕКО,  
ЗА ПОВОРОТОМ...





Фото Е. Успенского.

О таких, как Леонид Репин, обычно пишут: человек счастливой журналистской судьбы. Это правда. Но в журналистской судьбе, как ни в какой другой, все зависит от самого человека. Ведь быть журналистом — это прежде всего уметь вовремя появиться там, где что-то произошло. А потом суметь это осмыслить и написать так, чтобы хотелось не только прочесть, но и вырезать. Почти все работы Леонида хочется вырезать...

Активно выступать в «Комсомолке» он начал с 1960 года. Сколько напечатано за это время? Подсчитать оказалось делом трудным — сбились со счета тогда, когда перевалило за шестую сотню. История нашей газеты богата репортерскими подвигами спецкора Репина. Он опускался на дно моря в подводный дом и первый в советской прессе передал оттуда репортаж, работал испытателем в экспериментальной программе

«Союз — Аполлон», испытывал космический и радиационный скафандры, участвовал в экспедиции спелеологов, летал на воздушном шаре «Комсомольская правда», был членом экспедиции гляциологов на высокогорном леднике, в пустынях Каракумы и Кызылкумы, голодал в экспериментах на выживание на необитаемом острове в Тихом океане и в Красноярской тайге. Никто из наших журналистов не ставил на себе таких опытов.

В книжке собраны репортажи и очерки разных лет. За каждым из них пришлось куда-то ехать, плыть, лететь: на мыс Шмидта, на Камчатку, в Филиппинское море, в Восточную Сибирь, в Африку.

И еще об одной страсти Леонида Борисовича — науке и всем том, что в ней происходит. Многие годы он яростно отстаивает правду, борется за место и право молодого ученого.

Слава не обошла его стороной. Ему присуждены премии Московского отделения СЖ СССР — «Лучший репортер 1969 года», «Лучший репортер 1978 года». В 1983 году высшая журналистская награда — Премия Союза журналистов СССР, через два года — лауреат премии им. В. А. Гиляровского.

Он идет по нашему длинному редакционному коридору, стройный, подтянутый, элегантный, с чуть заметной ироничной улыбкой. И кажется, что все, что делает специальный корреспондент Леонид Репин, необыкновенно легко и просто. Так бывает только у большого Мастера.

Галина ЯНЧУК,  
заместитель ответственного секретаря  
«Комсомольской правды».

Издается с января 1957 года

Леонид Репин

ДАЛЕКО,  
ЗА ПОВОРОТОМ...

---

*Листаю свои старые газетные вырезки — высохшие и пожелтевшие, как листья в затяжную и сухостойкую осень. Они и пахнут-то, мне кажется, как облетевшие листья — чем-то дорогим и далеким...*

*Но нет: газета живет все же дольше, чем листья. Пустишься взглядом по этим строчкам — и сразу услышишься что-то и вспомнится тоже. Мне казалось, забыто уже, и давно, а газета ничего не забыла.*

*Вот я и думаю: надо мне сказать за это спасибо газете.*

*Леонид РЕПИН*



## РЫБЫ СТУЧАТСЯ В ОКНО

По стальному трапу мы спускаемся вместе в море, надеваем на плечи ремни аквалангов, ласты и маски, за пояс — дыхательные трубки — так, на всякий случай, и сразу ныряем. Яйленко впереди, я несколько сзади.

Мы проходим в узких коридорах между подводными скалами, огибаем одну — большую, которая вертикальной стеной встала на нашем пути, и потихоньку идем в глубину. Море спокойно, и длинные стебли водорослей беззвучно колыхнутся, когда мы проплываем мимо. Голых камней в море нет — все они сплошь покрыты растительностью, отчего становятся похожими на горы, поросшие щедро травой. Только в этой траве снуют разноцветные рыбы. Рыб здесь не трогают, и они подпускают к себе совсем близко — так, что, если изловчиться, можно коснуться рукой.

Мы плывем рядом и не спеша идем в глубину. Скоро через несколько метров набора глубины у меня заложило уши, и я, плотнее прижав маску к лицу, продул их, чтоб уравнять давление. И снова пришло чувство свободы и легкости.

Темные провалы в глубине, между скал, кажутся бездонными колодцами, в которые так просто войти, что трудно удержаться, чтобы не сделать этого.

Яйленко заметил, что я задержался немного, и остановился, поджидая меня. Очень странно он выглядит: человек, неподвижно, без единой опоры повисший на глубине. Только в воде можно увидеть такое.

Потом мы смотрим вперед и видим сноп пузырей, бегущих из-за скалы. А вокруг, видимо, привлеченные их сверканием и стремительным бегом, собрались стаями рыбы. Мы смотрим на этот серебристый фонтан, и мне кажется, что там — за скалой — притаилось животное. Оно ждет, когда мы приблизимся, и только частым и мощным дыханием выдает место засады...

Там, за скалой, стоит дом.

Ихтиандровцы — члены донецкого клуба подводников «Ихтиандр» — поставили его на два с половиной метра глубже, чем «Преко́н-тинент-1». Это было сделано вовсе не для того, чтобы побить первый рекорд Кусто, а только потому, что более удобной площадки повыше не было.

Шторм пытался сорвать их планы. Едва начали погружать стальное сооружение, пригруженное традиционным балластом, как море разволновалось, и крупные волны тяжелым молотом стали бить дом о ска-

лу. Потом я увидел следы их работы: помятую кровлю, согнутые ноги опор. Когда дом все же опустили на дно, кое-где пошла течь — это под мощным натиском волн лопнули сварные швы... Тогда многие из ихтиандровцев засомневались в успехе.

Они все же сделали то, что задумали. Двадцать восьмого августа 1967 года в дом вошла первая пятерка, возглавляемая шахтером Юрием Советовым. Из всего экипажа только он да Александр Хаес — хирург, руководитель экспедиции, жили в прошлом году в подводном доме. Юрий Гуляр, Владимир Песок и Юрий Качуро акванавтами стали впервые. На этот раз пятерка пробыла в доме семь суток — ровно столько же, сколько французы Фалько и Весли. Поздний вечер задержал выход Советова, и командир экипажа остался под водой еще на сутки. Свою восьмую ночь Советов провел вместе с акванавтами второй группы. Так, сами того не желая, ихтиандровцы превзошли первое достижение прославленного француза и еще в одном пункте — во времени, которое длился эксперимент.

...Вдвоем с Яйленко мы обходим большую скалу и прямо вниз перед собой видим небольшое плато и на нем — у подножия подводной горы — яркий, в черно-желтую клетку дом. Из центра его, там, где сходятся три больших куба, вырывается мощный поток пузырей. Дом очень красив, и мы видим сверху, как по его пестрым бокам скользят быстрые рыбы тени и как ложатся потом на него тени наших фигур, когда мы спускаемся все ближе и ближе к нему. Потом Яйленко встает ногами в ластах на кровлю и, нагнувшись, проводит рукой по кровле, показывая мне, как сильно помял ее шторм.

Мы с Леней Яйленко опускаемся к самому дну — так что дом оказывается даже несколько выше, потом обплываем вокруг, и я вижу вблизи помятую кровлю, и «ноги» дома — винтовые опоры, которые нужны, чтобы отрегулировать уровень пола. За несколько дней до начала эксперимента случился шторм, который бил дом о скалу — помял ему кровлю и выгнул стальные «ноги». Из-за этого шторма пришлось задержать спуск акванавтов.

Вблизи дом кажется крупней и массивней. Яйленко ложится параллельно дну и заплывает в темное пространство под домом — там должен быть входной люк. Потом он делает последнее — стригущее движение ластами, и я его больше не вижу. И тут же иду вслед за ним и натыкаюсь на трап. Над головой что-то большое и темное. Поднимаюсь вверх по ступеням и неожиданно попадаю в какое-то пространство, которое громко гудит и клокочет. Не сразу я понял, что мы уже в доме. А гудел компрессор, мощным потоком нагнетая с берега воздух. Ощущение такое, что тебя упрятали в железную бочку и начали нещадно колотить по ее бокам чем-то тяжелым.

Яйленко уже сидел на самом краю люка, свесив в него босые — без ласт — ноги и, улыбаясь мне, освобождал ремни акваланга. Я снял маску и увидел весь экипаж подводного дома. Ко мне протянулись руки, чтобы помочь снять аппарат. Странно как-то: в доме, который стоит на морском дне... Командир второго экипажа Жора Тунин помогает снять акваланг и поудобней усесться с края, у люка. Я осмотрелся.

В доме три комнаты. В каждой по три больших прямоугольных иллюминатора. И хоть я и был готов к тому, что за окном должны плавать рыбы, все же поразительно странно видеть их возле стекла. Рыбы тыкались в него носом, шевелили недоуменно губами, глядя на нас.

Одна из комнат — та, где мы были, — лаборатория. Справа склад аквалангов (он же и туалетная комната), слева кубрик. Он очень похож на



купе в железнодорожном вагоне. Сейчас все пятеро в кубрике. Командир экипажа представляет мне их. Это врач — Борис Песок, инженер — Николай Гаркуша, Евгений Спинов — председатель Запорожской секции подводников, Анатолий Кардаш — еще один врач. Сам Тунин — научный сотрудник, работает в Донецке, в одном из НИИ.

Они пришли сюда как на работу. И, хотя все у них делалось весело, работа для них осталась работой. Они все эти дни были спокойны и даже в минуты, когда грозила опасность, сохраняли спокойствие и рассудительность. Таких опасных минут было много.

Постепенно мы к шуму привыкли. Я снова стал разглядывать дом. Под потолком сплетение труб и проводов. В ящиках на полу возится что-то живое. Заглядываю в один из них и вижу длинные уши кролика, в другом — морские свинки, в третьем — крысы. Это — хозяйство микробиолога Саши Сахно. Он входит в дом четыре раза в день, приносит своим питомцам пищу, берет анализы.

В центральной части дома «Ихтиандр-67», где люк, сходятся все три комнаты. Дверей нет. Справа — кубрик, в котором четыре лежащих места, слева — склад аквалангов и туалет, прямо — лаборатория, стены ее уставлены сплошь приборами. Под потолком, в самом углу — передающая телекамера. Две другие — в воде подле дома, одна из них нацелена на входной люк, так что наверху, на пульте управления, в любую секунду можно увидеть обитателей подводного дома и чем они в данный момент заняты.

В доме тепло. Акванавты сидят в одних плавках — воздух здесь влажный. Надувные матрацы, правда, сухие. Не знаю, как их удалось сохранить от воды. Кое-где с потолка и со стен даже капает. Но это не морская вода, а воздух, конденсировавшийся на металлических стенах. Глядя на влажные стены, я вспомнил строки из дневника, который вели на «Прекоинтенте», — там была точно такая картина. Только у ихтиандровцев нет комфорта, которым гордились французы.

Командир экипажа Георгий Тунин угощает нас с Леней Яйленко шоколадом. Это традиция. Сами акванавты, судя по всему, не сладкоежки, и сохранить шоколад для гостей для них не такое уж искушение. Аквалангисты, обслуживающие дом, рассказали, что в то время, когда в доме жила первая пятерка, они раза два возле люка находили шоколад — целые плитки. Неизвестно, сколько эти плитки провалялись на дне, только шоколад оказался вполне съедобным.

Я смотрю, чем заняты сейчас аквалангисты. Николай Гаркуша сидит в кубрике возле окна и прилаживает бокс для подводной съемки. Напротив него Толя Кардаш. По-моему, он пишет кому-то письмо. Почта отсюда уходит в специальных контейнерах. Борис Песок читает газету. Женья Спинов и Жора Тунин — в лаборатории, склонились над каким-то прибором.

А у нас под ногами прямо в широком отверстии люка суетятся пестрые рыбы. Рыб здесь много, и, наверное, потому, что на них никто не охотится, тянутся к жилью человека — совсем как птицы наверху, на земле. В каждой из комнат подводного дома по три довольно больших иллюминатора. Морские ласточки — небольшие черные рыбки с бочками будто из бархата часто подплывают к ним и тычутся носами в стекло. Акванавты продемонстрировали мне эффект Советова. Юрий первым обратил на это внимание: если сильно постучать ладонью по стеклу, рыбы стремительно кидаются прочь, а потом медленно, словно гонимые мучительным для них любопытством, возвращаются в прямоугольник окна.

Я достаю из контейнера, который мы привезли с собой, аппарат, стараясь уберечь его от сырости, и делаю в доме несколько снимков. Один кадр — нацелив объектив прямо в люк (потом получилась какая-то фантастическая картинка: яркие, размытые блики в воде, трап, словно погнутый, уходящий на дно, и несколько рыбок — будто мазки, нанесенные кистью импрессиониста). А в другом иллюминаторе, что в лаборатории, видна прямая стена скалы. Она сплошь покрыта водорослями. Они степенно качаются в легком набеге волн, а меж стеблей иногда проскальзывают гибкие тела мелкой рыбешки. Интересно посидеть здесь, возле окна, поздно вечером, когда из дома струится электрический свет. Ребята рассказывали, что рыб в это время сплывает видимо-невидимо...

Впрочем, возле окна интересно и ночью, когда в доме все спят. Об этом говорил Владимир Песок («Водоросли ночью флуоресцируют, иногда качаются, очень похоже, будто мерцают далекие звезды. Не знаю — что там у них светится, но это факт»). Однажды, поздним вечером, Владимир, сидя подле иллюминатора, наблюдал даже отсветы зарницы. Это были бледные розоватые вспышки, озарявшие большое пространство в воде. Я ему позавидовал: наблюдать зарницы с морского дна — это не часто можно позволить себе...

Потом сверху раздался звонок, и оператор на пульте сообщил экипажу, что в дом отправили контейнер с ужином.

— Вам надо скорей уходить, — сказал Тунин, — придет контейнер и весь люк целиком закроет. На час, не меньше...

Мы с Яйленко поспешно стали надевать свое снаряжение. В воде уж совсем стемнело, и в доме зажгли свет. Сразу сделалось светло и уютно, и расхотелось лезть в холодную воду...

Потом в пространство под люком наплыла большая темная тень, и я догадался, что это пришел контейнер. Аквалангисты, которые его привезли, увидев нас, задержались у входа, чтобы дать нам возможность выйти.

А в кубрике Кардаш рассказывает что-то веселое. Женя Спинов улыбается сдержанно, все равно видно, что он вот-вот рассмеется. У Тунина, когда он смеется, топорщатся густые черные брови. Песок смеется, прикрывшись «Неделей», потом кладет газету на голый живот и берет со столика возле окошка небольшой букетик из астр (бог знает, где ихтиандровцы взяли их в этой пустынной бухте) и с удовольствием нюхает. Николай Григорьевич Гаркуша (его все тут зовут по отчеству, потому что он самый старший) улыбается, показывая ровные белые зубы.

Мне не слышно, о чем они сейчас говорят, — заглушает компрессор, но я услышал, как Леня Яйленко защелкнул пряжку на ремне акваланга. Я тоже укрепляю за спиной тяжелые баллоны и спускаю ноги в широкий люк. Рыбы — черные ласточки — в страхе бегут у меня из-под ног, но скоро возвращаются, привлеченные, видимо, светом.

Потом мы с Леней пожимаем руки всем акванавтам и опускаемся в люк. Краски давно уж поблекли. Сейчас здесь настоящие сумерки. Видимость метров пять, никак не больше. Мы подплываем к иллюминатору и видим, что все улеглись. По распорядку сейчас им положен отдых. Мы смотрим, приставив маски к стеклу, и мне кажется, что мы заглядываем в странный, наполовину сказочный мир. В мир, к которому мы пока еще не привыкли. И неизвестно, привыкнем ли...

1967 г.



# В ГОНДОЛЕ НАД ОБЛАКАМИ

Эти люди давно не летали, и потому приготовление к полету, к тому, что все они, наверное, любят больше всего на свете, захватило их, наполнило ожиданием старта и желанным волнением.

Было время, когда старики летали много и долго. Каждый из них охотно расскажет истории, приключавшиеся во время полетов, — истории, воспоминания о которых заставляют ярче светиться глаза и пошире расправить плечи. Теперь они постарели, как постарели аэростаты — их корабли.

Но на шарах давно не летают. Изредка для сбора научных сведений поднимется кто-нибудь из этих людей на привязанном аэростате, да ведь разве сравнить это с полетом во всех отношениях... Мы стояли с Иваном Шагиным — аэронавтом, поднявшимся в корзине лет сорок назад на высоту десять километров, и это стало мировым достижением, и он говорил, глядя с берега вниз, где готовили к полету наш шар: «Да... Гибнет аэронавтика... Гибнет, а жаль...» Шагин нервно курил, и я понял, что он, наверное, много бы отдал, чтобы полетать сейчас вместе с нами. И еще я подумал о том, что этот полет — и их дань нашему празднику, который придет через месяц, ведь каждый из них вложил в эти полвека и свои комсомольские годы.

Оболочка уже приняла форму шара, и ее приходилось удерживать с помощью нескольких длинных ремней — их зовут поясными, — которые обхватили шар со всех сторон. Так водят иногда диких животных: несколько человек тянут за ремни в одну сторону и столько же — в противоположную. Вот зверю и некуда деться, кроме как вышагивать прямо.

Руководитель старта С. Г. Карамышев отошел в сторону, окинул взглядом всех подле шара и крикнул зычно: «На поясных! Внимание! Отпускай! Тихо-тихо...» Люди, держащие в руках поясные, отпустили разом — и наконец шар оторвался, повис над землей, опустив безвольно концы такелажа. К этим концам и подвешат нашу гондолу.

А шар рвется ввысь, качается, обвитый ремнями, и я вижу, что люди уже с трудом держат его. Ожил шар, почуял воздух... Долго он ждал этой минуты... Еще недавно он был сложен в огромный, тяжелый пакет, который даже вдесятером с трудом можно было поднять, а теперь стал легким, подвижным, способным вырываться и улетать.

К тому времени гондолу уже прицепили. И сразу же повесили сбоку — по всем бортам — мешки с балластом. Теперь будет легче держать. Потом начали монтировать рацию, приборный щиток, разложили по дну еще штук пятнадцать мешков с балластом, два деревянных ящика — аккумуляторы к радию и наши личные вещи. Подходит Шагин, отзывает весь экипаж. Едва сдерживая улыбку, поглядывает он на нас с Богачевым, потом говорит, протягивая по маленькому рюкзачку: «Вот это парашюты. Пристегивать их надо так...» — показывает. «А вот за эту ручку — дергать». Вокруг все улыбаются.

Парашюты мы тоже кладем в корзину. И все это уместается на площади всего в два квадратных метра. Когда я заглядываю внутрь, вижу, что места в гондоле осталось совсем уж немного — только-только чтобы нам встать.

И вот наконец мы слышим слова долгожданной команды: «Внимание! Экипаж в гондолу!» Команда эта застигла нас как-то врасплох — мы все были захвачены деловой озабоченностью, — и я даже не сразу понял, что она относится и ко мне.

Я подхожу к гондоле — Трофимов и Богачев уже в ней, — перелезаю через борт и встаю рядом с ними. Как раз с этой стороны название корабля — «Комсомольская правда». Теперь на нас нацелены все фото- и кинокамеры. Уже из гондолы мы видим, как кинулись бежать к своей стрекозе вертолетчики — она стоит метрах в двухстах.

Последние напутствия, пожелания, рукопожатия. Нам машут руками, кричат что-то. И снова громкая, перекрывающая все голоса команда Карамышева: «Внимание экипажа! Держаться за борт!»

Пауза.

«Отдать поясные!»

Отпущенные ремни расскочились в разные стороны, гондола дрогнула, метнулась вправо куда-то в сторону, потом повисла, сдавшись.

И мы полетели.

...Шар поднимался быстро, беззвучно, неумолимо — как дикий зверь, уносящий свою добычу. Движение наше можно было заметить лишь по тому, как уменьшались фигуры людей. Ощущение это было для меня столь непривычным, что я ждал: вот-вот воздух взорвется от грохота включенных двигателей и содрогнется гондола... Не можем же мы лететь просто так... Но было тихо. Так тихо, что снизу слышны все голоса.

Поразительно, сколь сильны в нас привычные представления. Полет — значит, должны быть крылья, винты или турбины. Движение по воде тоже ассоциируется с работой машины — глухой гул, идущий из самого чрева судна, мелкая дрожь палубы у тебя под ногами. А вот другой полет — на воздушном шаре, подчиненный лишь одному — самому древнему и, пожалуй, самому простому из всех открытых законов физики. Или плавание под парусами... Все это забыто в двадцатом веке, и я не знаю, так ли это уж хорошо. Здесь как раз одна из тех связей, которые тянутся из прошлого к нам и от которых мы уходим теперь все дальше и дальше. Как странно: ощущения, которые были обычными для наших предков, не столь и далеких, обретают для нас новизну и неожиданность...

Город остался уже позади. И люди кажутся нам всего только черными точками. Очень забавно: у этих точек есть голоса. И мы их прекрасно слышим отсюда — с высоты шестисот метров. Видимо, поверхность земли играет роль отражателя звука.

В гондоле каждый занялся делом. Трофимов надел наушники и, щелкая тумблером рации, пытается связаться с землей. Пока мы поблизости от пункта слежения, связь будет прямая, потом на помощь придет рация на вертолете. А Богачев — с зондами. Копаются молча в открытых белых коробках. И все же он не удерживается, смотрит вниз и говорит восхищенно: «До чего же здорово! Разве с самолета увидишь такое...»

Из рации донесся голос Шагина: «ВР—75», «Комсомолка», включите зонд!» Богачев отвел стрелку в коробке зонда и начал потихоньку спускать его за борт. Вскоре он повис неподвижно на длинном тросе. Зонд — это прибор, который автоматически будет сообщать на землю различные метеоданные. Их два у нас, и у каждого свое назначение.

Корабль наш медленно, но неуклонно поднимается выше. Вокруг сплошная белесая пелена, окутывающая всю землю до горизонта. Панорама, открывшаяся из гондолы, из-за небольшой скорости подъема и го-



горизонтального перемещения кажется застывшей, какую можно увидеть, лишь поднявшись на очень высокую гору. Но склоны горы обычно мешают увидеть то, что находится прямо под ногами, а мы могли видеть все.

Подошло время первого завтрака. Мы разрываем запаянные полиэтиленовые пакеты, достаем продукты, которые нам предстоит испытать. В основном они приготовлены методом сублимации — из натуральных и высушенных в вакууме. Крупные квадратные таблетки творога с черносливовой пастой, соки — пока еще они в виде цветных порошков. Их надо развести в воде. Хлеб — обычный и необычный: в оригинальной упаковке, размером всего с ладонь, лежат крошечные пшеничные и ржаные буханочки. Каждую из них очень удобно отправлять в рот целиком. Я смотрю, как управляют с завтраком мои товарищи по экипажу: судя по выражению их лиц, испытание проходит весьма успешно.

Потом снова за дело. Богачев вернулся к приборам, Трофимов — к рации и, я хотел сказать, на место водителя, но понял, что это будет звучать по меньшей мере нелепо, хотя такое место в принципе есть. Было очень интересно наблюдать, как Трофимов управляет полетом шара. Он стоял в углу гондолы возле небольшого лотка, заполненного песком. В песок был воткнут совок. Трофимов смотрел на приборный щиток и, постукивая пальцем по альтиметру, следил за его показаниями. Потом он переводил взгляд на вариометр — прибор, показывающий подъем или спуск, и брался рукой за совок. Отсыпал он песок небольшими порциями — граммов по двести, не больше, удерживая шар на нужной высоте или поднимая его выше. Движения Трофимова — вот ведь странное дело — чем-то были очень похожи на движения рук шофера, сжимающего руль. Быть может, тем, что были они так же размеренны, спокойны и безотчетны. Аэронавт вел наш воздушный корабль, как ведет капитан судно под парусами, удерживая его в одной ему ведомой воздушной струе. Выше — скорость одна, ниже — другая. Я смотрел на все, что делал командир корабля, и видел, как шар был ему послушен.

Иногда Трофимов склонялся над картой и, приложив к ней круговой транспортир, высчитывал курс. Сейчас уже можно было сказать, что ветер понес нас точно на запад — по очень широкой, пологой дуге. Иногда, когда он стихал, мы повисали почти неподвижно и, вглядываясь, могли увидеть людей, которые высыпали на улицу при виде нашего шара. Водители останавливали машины, откидывали дверцы, выходили и замирали подле, задрав кверху головы. Ребята высыпали из школы (надеюсь, была у них перемена) и долго махали вслед нам руками. С небольшой высоты мы все отчетливо видели. Альтиметр показывал тогда метров семьсот — восемьсот. Когда стрелка его подобралась к отметке одного километра, я вручил командиру нашего корабля памятный значок «Комсомольской правды», и тут же вдвоем с Богачевым ввиду отсутствия более широкой аудитории поаплодировали. И сразу почти перестали, подняв руки и глядя навстречу друг другу: гондола наша начала ходить ходуном!

Позже мы привыкли к тому, что стоит сунуть руку в карман, как гондола начинает качаться — несильно, конечно, но вполне ощутимо. А в первый раз это очень нас удивило, потому что все время полета гондола висела под шаром совершенно недвижимой. И это стало главным моим ощущением от полета на шаре: неподвижность гондолы и тишина. Тишина удивительная, какая-то просторная, какой я не слышал раньше нигде — ни высоко в горах, ни в лесу, ни под водой. Там, на земле, всегда есть какие-то звуки, которые в общем-то тоже создают тишину, —

негромкий голос бегущей воды, полет пчелы, шорох ветра в ушах или звуки пузырей, рвущихся из акваланга к поверхности. Здесь же, на высоте двух километров, тишина была абсолютная. Мы не могли услышать даже голоса ветра, потому что летели с его же скоростью. С той точно скоростью, с какой плывут над землей облака.

Тайком от Трофимова я выбросил за борт пустую бутылку, которая осталась у нас после завтрака. Мы пролетали в это время над полем, и я видел, что на нем никого не было. Потом взглянул на приборы: шар тут же стал подниматься. Трофимов постучал ногтем по стеклу вариометра, потом повернулся и стал вопросительно глядеть на меня. Пришлось признаться. За все время полета я еще только раз увидел его неодобрительный взгляд: когда встал ногами на борт гондолы, чтобы оба они — Трофимов и Богачев — смогли уместиться в кадре. Иначе размеры гондолы не позволяли.

Час шел за часом. Появлялось солнце, пригревало наш шар, и он потихоньку стремился вверх. Временами к нам прилетал вертолет, и мы разговаривали с его командой по радио. Вертолет проходил под нами, делал круг или два, и я видел даже, как целился в нас объективом неутомонный Сизов из Фотохроники ТАСС. Потом вертолет улетел вперед — точно по нашему курсу, и спустя полчаса мы пролетали над ним, когда он сидел на земле, и всегда возле него собиралось много народа.

День давно уж перевалил на вторую свою половину, мы пообедали, отведая пищу из туб, и вскоре заметили, что прочно зависли на месте. Высота — полторы тысячи метров. Это длилось минут тридцать, не менее. Я оторвал кусок газеты, смял его и бросил за борт. Он падал строго вертикально — почти до самой земли. Значит, и там, внизу, ветра тоже нет. Я спросил у Трофимова: не лучше ли нам повыше подняться, может, ветер есть там? Он поднял голову, долго смотрел, потом отрицательно покачал головой.

Ветер нашел мягкой, плавной волной. Она подхватила нас и понесла. Впереди вскоре показалась гряда облаков, и я заметил, как Трофимов с беспокойством стал поглядывать на нее. Потом он сказал: «Если войдем в облако, будем садиться...» Напрасно мы с Богачевым молили его — аэронавт был непреклонен. Дело в том, что в облаке воздух намного разреженнее, и шар неизбежно станет резко снижаться. А видимости до самой земли нет никакой...

Когда до облака осталось метров сто пятьдесят и сделалось ясно, что мы никуда от него не денемся, Трофимов скомандовал: «Пристегнуть парашюты!» Мы пристегнули. Я подумал тогда: не слишком ли много для первого раза? Полет на шаре, и не хватает еще испытать парашюты... Но все обошлось: облако задело нас только краем, и рваные ключья его беззвучно просочились сквозь нашу гондолу. Взглянув на приборы, я увидел, что край облака незаметно отнял у нас метров 160 высоты. Мы продолжали полет.

А солнце катилось все ниже. Оно бросало яркие блики на землю, похожие на зайчики, которые любят пускать зеркалом дети. В этих пятнах света оживали земные краски, обнажая всю щедрую палитру осени. И мелкие речки с водой, которая казалась сверху удивительно чистой, просматривались из гондолы до самого дна. На мелкой воде, возле берега, я видел рыжие водоросли, чуть глубже — белый песок. А скирды казались крошечными, удивительно ровными и плоскими лепешками, которые кто-то симметрично раскидал по земле. С такой высоты, когда совсем не ощущается скорости, можно смотреть, наверное, до бесконечности — впечатление совершенно необычное и неожиданное. И я не мог

не вспомнить Жюль Верн — «Таинственный остров», — ставший обитаемым из-за того, что герои его летели на шаре, и «Пять недель на воздушном шаре», — один из лучших романов писателя, — определенно сам Верн был неравнодушен к шарам...

Трофимов вытянул руку и показал: «Вон там, на поле за железной дорогой, будем садиться...» Уже смеркалось, и позже садиться было рискованно.

Плавно, заметно для глаз лишь шар начал снижаться.

Когда до земли осталось не более сотни метров, Трофимов протянул Богачеву огромный тесак: «Когда скажу — сразу руби гайдроп». Гайдроп — длинный, толстый канат. Его назначение — сориентировать в полете гондолу так, чтобы передний край ее был немножечко поднят. В таком положении удобней садиться. Открывая клапан и выпуская газ, Трофимов очень точно снижал наш корабль. Осталось уже метров двадцать. И тут команда: «Рубить гайдроп!» Секунда — и канат ухнул на землю. Конец его бежал по земле, беззвучно рассекая траву. Земля быстро стремилась под ноги, и мне казалось: все это я вижу в кино. В кино, в котором вдруг пропал звук.

Трофимов резко потянул за трос, открывая клапан, и мы уже готовились сесть, как вдруг налетел резкий порыв ветра, и нас понесло в лес. Мгновение — и гондола уже шаркала по верхушкам деревьев. Трофимов огорченно махнул рукой, еще потянул за трос клапана — и мы, скребнув гондолой деревья, вернулись на землю. Вернее, повисли в метре, зацепившись за ветви деревьев.

По полю, навстречу к нам бежали и ехали люди. Их было так много, что было странно — откуда сразу столько взялось?

Первыми подбежали мальчишки, подпрыгнув, схватили руками гондолу и, положив на ее край носы, с любопытством, какого я прежде не видел, стали молча таращиться. Подросли взрослые, потянули шар за канат и вытащили на середину поляны. Мы сели метрах в тридцати от того места, где намеревался Трофимов.

Признаться, очень приятно было нам тогда стоять на земле. Не в шаткой гондоле, сквозь прутья которой светлело небо, а ощущать под ногами плотную твердь.

Мы плавали в небе.

1968 г.

г. Крелевец.

## ДО ВСТРЕЧИ!

У меня в ушах и сейчас еще стоит отвратительный скрежещущий звук, который издавала каска, цепляясь за стены пещеры. Ход был столь узок, что каска иной раз даже застревала в расщелине, и возвращать ее на голову приходилось, сильно потянув подбородком за ремешок или даже прихлопнув сверху ладонью. Сам ход был не слишком трудный, но узок неимоверно и просто изматывал бесконечными крутыми извивами, пробираться через которые приходилось, буквально распластавшись меж стен. «Нудным» его, конечно, недаром назвали. Воды сначала было немного — лишь кое-где по колено, потом, после каскадов, ее чуть при-

бавилось, комбинезоны наши намокли и стали тяжелыми. Мешок с бутылками для проб, который я тащил за собой, был легок — потому что бутылки еще оставались пустыми — и никаких хлопот мне не доставлял. Он не мешал рассматривать желтые наплывы на стенах, напоминающие застывший поток старого воска, и бело-серые клыки сталактитов. В свете наших фонарей они тускло мерцали. Нет, хоть ход этот действительно нудный и идти по нему можно лишь боком, подставляя ноги, которые в коленях невозможно согнуть — они сразу упирались в стену, — все равно он очень красив. И, признаться, иной раз было трудно поверить, что эти таинственные гроты и черные разломы, уходящие ввысь и из-за которых вечным потоком струилась вода, — что они мне не снятся.

Я шел всего метрах в двух-трех сзади Дублянского, но только слышал, как трется его комбинезон, зажатый стенами. Я не видел даже света его фонаря — он не мог просветить этих жалких трех метров, потому что терялся в поворотах и каменных складках.

Я шел за Дублянским и думал: «Ну ладно: я полез сюда, потому что мне это просто очень интересно, потому что я должен сделать материал для газеты. А он-то зачем? Ведь, кажется, за те десять лет, что он ходит в пещеры, можно было бы вдосталь всего насмотреться. Да, конечно, он ученый, но разве нельзя поручить кому-то сделать вот эти самые пробы? Ведь важен в конце концов результат... А он всегда сам лезет. Не потому, конечно, что никому не может доверить эту работу — кому-нибудь из тех, кто помоложе. Есть тут такие, кому он может доверить. А почему тогда?»

Внезапно ход вывел нас к водопаду. Срываясь с десятиметровой отвесной стены, вода долбила площадку, окруженную гладкими стенами. Интересно, за сколько тысячелетий вода пробурила такой колодец? А может, за миллион лет? Дублянский говорил, что этому ходу от полутора миллионов лет до двух с половиной. Чудо какое-то: эта пещера существовала в те времена, когда по земле бродили многотонные чудища... А потом, быть может, в ней прятались наши дикие предки. Правда, именно здесь никаких следов от них не осталось. Хотя, конечно, так далеко, как мы, они не заходили: тут без фонаря делать нечего. А с горящим факелом не пролезть.

Эту стенку мы прошли по навешенной лестнице. Вскоре ход начал еще сильнее сужаться, и нам пришлось встать на четвереньки, и тогда уже у нас вымокло все, что еще оставалось сухим.

Когда мы вышли в большой зал со сводом, высотой метров пять или семь, Дублянский велел мне достать бутылку и в одном из притоков подземной реки взять пробу воды. Температуру и влажность он сам измерял.

Добровольно в такой воде я бы купаться не стал: семь и две десятых градуса. Влажность воздуха сто процентов, но он кажется очень чистым и свежим.

После подземных хором, как этот зал, украшенный, словно царский дворец, входить в лаз уже не хотелось. Мешок мой делался все тощей и тощей, потому что бутылки оставались на том месте, где мы брали пробы. На обратном пути их подберем.

А русло реки вело ниже и ниже. Я понял наконец, где мы шли: в гигантской расщелине, основание которой размыла вода. Верхний же конец трещины иногда был так низок, что я задевал его каской, а иногда — так далек, что свет фонаря не мог его отыскать.

Неожиданно я услышал резкий звук. Похоже, что Дублянский сильно ударился каской. Через несколько шагов я подошел к нему. Он стоял

в неловкой позе и силился дотянуться до упавших наземь очков. Когда он ударился каской, она съехала на лоб и сбила очки, и теперь его глаза казались немного растерянными и незащитными.

«Ну вот, — снова подумал я, — и зачем ему самому обязательно надо лезть? Мучается только напрасно...» И тут же осек себя: почему же напрасно? Он делает дело. Он залез в эту щель не ради развлечения. Конечно, одно дело — когда тебе приносят образцы и пробы и начинают рассказывать, где и как они были взяты, и совсем другое — когда ты все делаешь сам своими руками. И своими глазами видишь разломы, породу, и «характерные кристаллы», и прочую всякую всячину, которая так много может сказать геологу. Дублянский — геолог. Он и спелеологом стал именно потому, что был геологом. Он заразил (если только в этом случае так можно сказать) своей наукой мальчишек, которые, пренебрегая всеми запретами, лезли в пещеры Крыма.

Мы прошли до конца Нудного хода, взяв пробы из всех притоков, какие встретились нам на пути, и остановились перед сифоном. «Ну вот, — сказал Дублянский, — по вертикали глубина этой точки около двухсот метров, а от входа мы прошли почти километр». Странно: над нашей головой многие десятки тысяч тонн камня, а здесь просторно, воздух чист и свеж, будто его нагнетают мощные вентиляторы. Вот только холодно.

Возвращение в Нудный было мучительным. Он казался нескончаемым, и в некоторых местах я застревал так крепко, что с трудом верил, что несколько часов назад здесь проходил. Мешок стал очень тяжелым, и я никак не мог приспособиться — как лучше нести. Я держал его впереди, подталкивая бедром, волочил сзади, бросив в воду, и до сих пор не знаю, что было легче. Он измучил меня, этот мешок. Мы поднимались против тока воды на водопадах, уперевшись ногами в одну стенку и спиной в другую, и вода заливала нас с головы до ног. И снова влезали в такие щели, которые были скорее испытанием нервов, терпения, нежели испытанием физических сил.

«Вообще, конечно, удовольствие в Нудном трудно найти... — донесся голос Дублянского. — Старайтесь не думать, что нам еще далеко идти, и что мокнуть еще придется, и о том, какой он нудный. Думайте о чем-нибудь отвлеченном. Я вот знаете, о чем сейчас думаю?» Я, конечно, не знал. «Я обдумываю одну главу из своей диссертации. Легче так как-то...» Я подошел ближе к Дублянскому и увидел, как он согнулся, встал на колени и полез в узкую щель. Потом он вовсе лег, и я уже видел только рифленые подошвы его ботинок. А вскоре и сам последовал его примеру.

Я поймал себя на мысли, что сталактиты и желтые наплывы на стенах уже не казались мне сказочной декорацией, — я шел, просто цепляясь за них и за рваные, острые камни, цепляясь спиной, грудью, плечами, головой, — и тогда снова раздавался тот раздражающий звук, какой бывает, если наполненную песком кастрюлю поставить на асфальт и тащить за собой на веревке. Нет, точно: в Нудный во второй раз я никогда не полез.

Когда впервые забрезжил рассвет, я подумал, что это галлюцинация. Потушил фонарь и ясно увидел посеребренные дневным светом стены.

Мы поднялись выше на гору и легли, не веря, что может быть так тепло, как сейчас, и нет тесного хода, и холодной воды, и надо только раздеться, чтобы насладиться теплом уходящего дня. Семь с половиной часов мы были в пещере.



Когда я спросил Дублянского: «Виктор Николаевич, скажите: вот в этой пещере вы что искали? Что вы хотели увидеть?» — он неожиданно заговорил так, как обычно начинают говорить ученые люди, если разговор заходит об их работе: «Понимаете, на происхождение карста существует множество точек зрения. Здесь и сейчас еще идут споры. Как образуются подземные полости? В результате растворения горных пород или размыва? Я считаю, и у меня есть основания для этого, что эта пещера образовалась в результате размыва. Для доказательства этого как раз и нужны были те пробы, которые мы с вами брали. Ну, и кроме того, сейчас мы стараемся понять принцип образования минеральных подземных вод, уточнить области питания минеральных источников. Это важно уже в сугубо утилитарном смысле».

Вот, оказывается, почему мы мучились в Нудном. И все-таки не только поэтому он ходит в пещеры. Знаете, есть такой тип ученого: всю свою работу — от начала и до полного конца, вплоть до мелочей — он делает сам. Он пользуется всеми методами, которые чем-то могут дополнить его работу. Одни из этих ученых совершали рискованные крутосветные путешествия, другие — прививали себе опасный для жизни вирус, третьи — надевали космический скафандр или опускались в батискафе на дно океана. Четвертые лезут в пещеры.

Впрочем, наверное, это скорее тип человека.

«Внимание! — громогласно объявил вдруг Дублянский. — Вы присутствуете при торжественном акте расставания с комбинезоном Дублянского!» Он поднял над головой мокрый и рванный комбинезон, с которого стекала липкая грязь. Собственно, это был уже не «комбез», как говорят спелеологи, а только лохмотья. Дублянский размахнулся и забросил все это в кусты. Туда же последовали и никуда не годные брюки, которые были надеты под комбинезон. Потом он снял через голову свитер — весь в крупных и мелких дырах, как будто в его обладателя с близкого расстояния палили шрапнелью, и сказал: «А это на ваш суд. Выбрасывать или оставить? Вообще-то выбрасывать жаль: как-никак он мне с сорок девятого года служит. Во всех экспедициях грел...» Свитера как такового, конечно, тоже уже не было, но, отдавая должное его заслугам, мы дали совет оставить.

Потом и мы сняли свои комбинезоны и бросили их возле пещеры. Они больше служить не могли. Я вспомнил в эту минуту, как несколько дней назад, когда я вместе с Мироном Савчиным, спелеологом из Львова, обдирая руки, вылез из сорокаметрового колодца, первое, что он сделал, после того как несколько минут полежал на спине, — это снял комбинезон и забросил его на дерево. «Все, — сказал он. — Теперь до будущего года пусть тут повисит». И, оставшись в майке и плавках, отправился в лагерь, а оттуда через горы в деревню и дальше скорее в город, потому что боялся опоздать на самолет. Я подумал, что это у них своеобразный акт прощания. Они бросают комбинезон подле пещеры как бы в залог: «Мы уходим, но мы вернемся».

Они обязательно возвращаются. Потому что любовь к подземельям — это любовь навсегда».

1969 г.

# НЕУЛОВИМЫЙ ПЕРМЯКОВ

...А Пермяков снова ушел в тайгу.

И снова Мельников, его непосредственный начальник и товарищ, ругается, разве что не чертыхаясь, глядит на меня так, будто это я и есть Пермяков — непоседливый, плохо управляемый Пермяков. И снова молча глядит в окно Байкалов — третий и последний сотрудник всего института, пряча в углах рта умную, едва заметную улыбку.

— Я же запретил ему уходить в тайгу! Понимаете, запретил! А он ушел! Знаете, как мне в прошлый раз из-за него нагорело... А он опять взял и ушел! — бушует Мельников. — Ну погоди... Пусть только вернется...

Да, уж когда Пермяков вернется, мимо Мельникова не пройдет. Все три сотрудника красноярского отделения Всесоюзного института охотничьего хозяйства живут там, где работают. Второй этаж престарелого деревянного дома — их квартиры, нижний — всего три-четыре комнаты — лаборатории.

Дом этот стоит на самом краю города, и отсюда хорошо видны плавные линии сопки с редким пока еще частоколом елей, сосен и пихт. А дальше, за сопками, которые обложили город почти со всех сторон, залегла дикая в своей древности тайга.

Я думал, глядя на эти сопки: вот где-то в той стороне, километрах в четырехстах отсюда, опять засел в тайге Пермяков. Этот странный, неуловимый Пермяков, которому прямо-таки не сидится на месте и которого мне вдруг очень захотелось увидеть.

Пермяков был в Красноярске недолго — всего несколько дней. Он вернулся из своей удивительной командировки в тайгу, которая вместо запланированных полутора месяцев затянулась почти на полгода. И Пермяков виноват в этом не был, хотя Мельников и более высокое начальство в Москве честили его.

А он действительно был не виноват. Трудно в самом деле обвинять человека в «излишней» добросовестности, так же как трудно, скажем, обвинять его в «излишней» порядочности...

Командировка началась с приключения. От леспромхоза до того места в тайге, где собирался обосноваться Борис Пермяков, надо еще плыть несколько десятков километров на лодке, поскольку иного пути в те дремучие дебри не было. Вдвоем с рабочим промхоза Яригиным, который должен был вести моторную лодку, Пермяков загрузил снаряжение и продовольствие и 25 сентября вышел в дорогу.

Лодка шла ходко, и люди, сидевшие в ней, вряд ли думали о том, что скоро им придется искупаться в этой холодной и быстрой воде. На перекате вода захлестнула лодку, она тут же перевернулась и затонула. Оказавшись в реке, Пермяков и Яригин смотрели с отчаянием, как вещи — те, что не ушли сразу на дно, — быстро уносило бурным течением. По счастью, неподалеку оказались охотники — братья Гавриловы, которые помогли кое-что выловить. Все остальное безвозвратно погибло.

Пермяков и Яригин составили акт, который в изысканно канцелярских выражениях, написанных от руки, гласил, в частности:

«...с большим трудом выбрались из бурного потока и принялись за спасение плывущих предметов. Часть была спасена. После ревизии спа-

сенного снаряжения было обнаружено, что утонула большая часть личного имущества, продуктов, завозимых на срок трех месяцев, а также часть имущества отделения, в том числе: мешок спальный ватный — один (далее следует графа «причина списания») — утоплен. Бинобль — один — утоплен. Плащ брезентовый — утоплен. Брюки брезентовые — одни — утоплены. Ичиги — одни — утоплены. Рулетка — одна — утоплена. Динамометр — один — утоплен. Спирт — 150 гр. — израсходован. (Поздняя осень — дело понятное — несколько дней грелись.) Карабин калибра 7,62 — один — утоплен.

Остальное имущество, взятое на подотчет в отделении, в том числе мотор «Вихрь», радиоприемник, кинокамеру, фотоаппарат, телеобъектив и др., удалось спасти.

По счастью, почти все самое ценное вытащили. Однако потеря карабина — дело серьезное, и вскорости после этого события Мельников получил весьма забавную бумагу из местного отделения милиции — акт об утоплении карабина, подтверждающий, что так оно и было на самом деле — карабин утонул. И Мельников уже не ругался, но не без ехидства сказал: «Потопил карабин — за это его лишили права владеть оружием. Будет теперь с гладкостволкой в тайгу ходить...»

Думаю, что Мельников отлично знал: к тому времени, когда Пермьяков вернется, весь начальственный и вполне справедливый гнев выльется, поостынет, и уж, конечно, вряд ли Мельников станет наказывать Пермьякова за непослушание. Так пусть хоть милиция его накажет: лишили права владеть оружием — так и надо, в следующий раз знать будет...

Пермьяков нашел в каком-то дремучем углу пустую избушку и обосновался в ней, готовясь жить и работать здесь долго, пока не сделает всего, что задумано. Он знал, что придется жить в одиночестве, потому что до ближайшего поселка надо идти несколько десятков километров по тайге без тропы, по приметам, которые иногда оставляют охотники.

За полтора месяца своей командировки Пермьяков должен был собрать научный материал, довольно обширный, по которому можно судить о естественном воспроизводстве соболей. Пермьяков в общем-то экономист, а эту работу поручить бы надо биологу, — но что делать, если в отделении всего три научных сотрудника? Наверное, поэтому все трое — универсалы. Но Мельникову как руководителю отделения от этого не легче, и он не может не сетовать: «Понимаете, что получается? На весь Красноярский край нас три сотрудника, а дает край тридцать процентов союзной добычи соболя. В Иркутской же области, где и район значительно меньше и где соболя добывают тоже меньше, работают десять сотрудников. Ну, где справедливость?»

Пермьякова ждали 27 декабря, но он не вышел. Особой причины для беспокойства в этом не было, поскольку трудно рассчитать такую дорогу день в день — это и Мельников, и Байкалов отлично по себе знали и потому ждали, когда придет телеграмма из леспромхоза, извещающая о том, что Пермьяков наконец вышел. Но телеграммы все не было.

Мельников уже начал беспокоиться и сам стал предпринимать шаги, чтобы выяснить, почему нет Пермьякова: не дай бог, случилось что... Наступил Новый год, и его отпраздновали без Пермьякова. В районном отделении милиции о Борисе, естественно, ничего знать не могли, а из леспромхоза ответили, что скоро в тайгу пойдет вертолет — повезет припасы охотникам, и летчики обязательно сделают крюк к избушке, где обосновался Борис, и Мельников с Байкаловым успокоились немного и стали ждать.

Летчики привезли хорошую весть: возле сруба они увидели следы на свежем снегу и поняли, что Пермяков жив и здоров. Ему сбросили продукты и улетели. А Мельников, узнав об этом, снова вспылil: хорошо Пермяков — за него тут волнуются, а он, судя по всему, выходить и не собирается!

Пермяков же задержался вот почему: сначала он заболел — простыл сильно и с неделю провалялся в постели, — так Новый год и встретил. Потом собрался выходить, да лыжа сломалась. Починил кое-как, добрался до ближайшей охотничьей зимовки — километров сорок прошел — и стал просить охотника провести его через перевал к Телецкому озеру. А тот дороги этой не знал и рисковать не хотел. И Пермяков, отлично понимая, что сам ни за что не выберется и что зимовать ему как пить дать придется в тайге, побрел восвояси.

Пермяков никому не рассказывал, как ему жилось все эти месяцы. Наверное, такому живому и общительному человеку, как Борис, тяжело почти полгода не видеть людей, не иметь возможности перекинуться с кем-нибудь словом. Он не мог не понимать, что его ждут, ждут, не зная, что с ним, и тоже волновался от этого и от сознания, что не может подать о себе вести. Он не мог не волноваться за жену, которая ждала ребенка, и не думать о том, что выйдет он из тайги уже другим человеком — отцом, хотя и не зная, кто у него — сын или дочь.

Станный он все-таки человек — Борис Пермяков: в городе он такой, как и все, нет, даже живей и общительней многих, и, глядя на него, трудно сказать, что он любит бывать в одиночестве. А он действительно любит. В городе он скучает без леса и ощущает, как его тянет в тайгу. Он говорил не раз, как это ни странно, что в тайге никогда не чувствует себя одиноким. Он входит в лес, и идет дальше, и деревья пропускают его мимо себя, мягко касаясь своими ветвями, словно давая напутствие, и на него нисходит чувство покоя и уверенности. Так было и в этот раз, но он оставался долго один, слишком долго, и где-то в середине зимы наступил перелом, и ему нестерпимо захотелось выйти, но он сумел пересилить себя, потому что понимал: сам отсюда не выберется.

Пермяков много работал все это время.

В середине марта прилетел вертолет, собрал зазимовавших охотников и Бориса тоже забрал — вместе с его научным грузом, ради которого он, в общем-то, и попал в приключение.

В Красноярске Борис появился косматый — с длинными волосами, с большой рыжей бородой. Оставил вещи внизу, поднялся наверх к себе, обнял жену, постоял возле сына, которого увидел впервые, и еще раз понял, как долго он не был дома.

Мельников, кажется, немного отошел к тому времени, а может, смягчился из-за того, что, хотя командировка и затянулась невероятно, научный материал, который собрал Пермяков, оказался важным и очень полезным. Нет, не потерял он время в тайге...

Потом Борис обработал все результаты, вычертил графики, свел цифры в таблицы. Потом словно бы спохватился — вспомнил о своей диссертации, готовой еще до этой злополучной поездки и посвященной проблеме использования кедра, «защитился» отлично и стал кандидатом наук. Прошло еще немного времени, и Мельников снова послал Пермякова в Хакасию — в Абазу, для того чтобы составить организационно-хозяйственный план. Мельников наказал при этом, чтобы Пермяков о тайге и не думал.

...Мне не повезло: я приехал как раз в это время. Уже собрался ехать вдогонку за Пермяковым, но Мельников сам меня отговорил: «Пожалуй, не стоит ехать. Вдруг не застанете... Я хоть и запретил ему уходить в тайгу, но он мог не послушаться... У него там кое-какие вещи остались... Давайте лучше позвоним в леспромхоз и заодно проверим, послушался он или нет».

Мы позвонили, и Пермякова на месте не оказалось. Сказали, что он ненадолго отлучился в тайгу. Вот тут и вспыхнул Мельников: «Ушел! Понимаете — ушел! Я же ему запретил, а он не послушался!» Мельников ругался, а я видел, что он, наверно, догадывался, что Пермяков поступит именно так, но искренне верить хотел, что ошибается, что Пермяков не уйдет снова в тайгу. И он ушел. На ненадолго, но все же ушел.

— Но ведь надо же было ему вещи забрать... — попробовал я заступиться.

— Надо! Пусть для этого отпуск берет! Нас всего-то здесь трое. Работы знаете сколько!

И я вздохнул, потому что не мог не согласиться, и потому что предвидел: на этот раз Пермякову точно уж попадет.

Мельников послал в леспромхоз телеграмму с указанием Пермякову сразу вернуться, как только объявится, а я оставил адрес гостиницы с просьбой тут же зайти: должен же я с ним познакомиться...

Два дня я не выходил из гостиницы, ожидая, что вот-вот раздастся стук и я увижу в дверях Пермякова. Но он не пришел. Может, непогода задержала в тайге...

Да, наверное, уж на этот раз ему попадет.

Красноярск, 1970 г.

## МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ

Аслан провалился в трещину в какое-то мгновение ока, не успев ни испугаться, ни крикнуть. Было очень похоже на то, как в театре проваливаются под сцену злодеи: раз — и нет человека. Аслан шел впереди на связке. Аслан — добрый, веселый парень, но исчез он с какой-то действительно злодейской поспешностью. Рындин вовремя среагировал: уперся, лег на снег и приготовился, когда дернет веревку. Происшествие обнаружилось как-то не сразу: просто Рототаев увидел, что Аслана нигде не видать, а Рындин тихонько лежит себе на снегу и держит натянутую струною веревку. Когда Рототаев подбежал к открывшейся трещине, из нее поднимался сизый дымок, совершенно непонятного происхождения. Рототаев осторожно заглянул вниз и увидел висящего на глубине шести — восьми метров Аслана. Он уперся спиной и ногами в стены расселины и спокойно, даже демонстративно, курил.

Чуть позже я спросил его: «Испугался?» Он ответил: «Нет, что ты!» И все на мой вопрос рассмеялись: «Разве горец когда-нибудь скажет, что испугался!» Впрочем, я уверен, Аслан говорил вполне искренне. Отделался он просто счастливо: даже ушибов нет. А ведь трещина была бог знает как глубока. По существу, Рындин спас ему жизнь. Звучит это, конечно, несколько выпендренное, к тому же в жизни альпинистов такой эпизод — дело вполне обычное, но факт остается фактом.

Позже я наблюдал, как вел себя Аслан по отношению к Рындину — никаких слов благодарности, зато они много вместе шутили, как



будто ничего не случилось. Иногда Аслан подходил к Рындину и, словно желая, чтобы тот его лучше слышал, наклонялся ближе и как бы невзначай, подчеркнуто безразлично обнимал за плечи. В мужской компании не говорят громких слов.

...Мы поднялись по леднику, потом немного спустились, и здесь, в небольшом естественном углублении, где ветра уже почти не было, Рототаев решил поставить лагерь. Высота — четыре тысячи двести метров. Мы вырубили в плотном снегу ровную площадку, чтобы поставить палатки, а снежные кирпичи сложили вокруг, чтобы защитить палатки от ветра. Пока все укладывались — темнело быстро, как в кино перед началом сеанса, надо было спешить, — Филимонов забрался в палатку и уже разводил примус, напевая что-то веселое. Я и позже не переставал удивляться: что бы Филимонов ни делал, обязательно песни поет — импровизирует, нарочно путая слова и переставляя куплеты из одних песен в другие. Это о нем Аслан сказал как-то мне: «Послушай, мы бы, наверное, со скуки померли, если бы у нас не было такого человека, как Филимонов. Как может он все время петь?» «Филимонов может все» — Рототаев мне о нем так сразу и сказал, и я во время экспедиции многократно убеждался в справедливости сказанного.

А пока Алексей самозабвенно готовил ужин на всех, высыпая из целлофановых пакетиков хрустящий картофель, превращая его в кастрюле в пюре, порезал лук — «витамины», махнул туда же банку тушенки — и мы это умяли за милую душу, не успев понять, вкусно или не вкусно все это было.

Ночью, с непривычки к большой высоте, я спал плохо, было холодно — на улице что-то около тридцати, палатка на ветру хлопала, как туго натянутый парус, и иногда, заглушая сразу все звуки, неожиданно раздавалась где-то вокруг нас орудийная канонада — рушились многотонные глыбы льда и начинали свой бег лавины. Утром, выйдя на свет, в полкилометре от лагеря я увидел огромные голубые глыбы — это они ночью обрушились с грохотом. Вот тут я и понял, как это важно — уметь выбрать место, где можно поставить палатки. Сколько было несчастных случаев из-за того, что люди относились к этому если не с легкомыслием, то уж по крайней мере без нужного знания. Ну, а Рототаев выбрал место отменное.

Работа началась сразу, как только проснулись и как только филимоновский примус приготовил завтрак по скрупулезно точному рецепту ужина. Потом Аслан, Рындин и Филимонов начали копать в снегу шурф — нужно было вырыть колодец два метра на два и глубиной метров в десять — двенадцать. Мы с Чепигой пошли километров за пять от лагеря — на вершину Чач-хоха — нам предстояло заняться теодолитной съемкой на точках, а сам Рототаев ушел на рекогносцировку, чтобы хорошенько оглядеться и посмотреть на ледник с разных сторон. На это ледяное плато они, оказывается, вышли работать впервые.

Самое трудное, конечно, копать шурф. Это могут делать только молодые и сильные. Иной раз приходится рыть до глубины метров восемнадцать. Высота шестиэтажного дома. Работа тем более трудная, что делать ее приходится в разреженном воздухе. Эти шурфы для гляциологов — неотъемлемая часть их работы. Самая и, пожалуй, самая важная. Потому что шурф вскрывает сезонные накопления снега, в шурфе гляциологи определяют структуру, кристаллический состав снега и льда, уж потом, по всем собранным данным судят о содержании в снеге воды. Вот почему еще внизу, в ожидании вертолета, Рототаев нервничал и в день по два раза звонил на станцию метеорологам, чтобы узнать их

прогноз на завтра и на ближайшие дни. «Эти шурфы,— говорил он,— нужны именно сейчас. Ни раньше, ни позже, а сейчас, понимаешь? Только сейчас можно судить о максимуме сезонных накоплений...»

Всего им нужно было вырыть три пятнадцатиметровых шурфа в разных местах. Мне говорили, что обычно один такой шурф копают месяц, а то и два. Ребята Рототаева делают эту работу всего за неделю.

...А мы с Чепигой, надев на ноги кошки, шли по гладкому, стеклянному льду, и Виктор показывал мне ледорубом на трещины, замаскированные так, что сразу их не увидишь, и мы обходили их, а иногда перешагивали, помня недавнюю историю с Асланом и Рындиным. Потом лед кончился, мы сняли кошки и стали подниматься еще выше — к вершине, где мне надо было остаться с рейкой. Рейка большая — более четырех метров длины, оправленная металлом, и Рототаев на базе долго глядел на нее, колебался — брать не брать, даже предлагал Чепиге сделать другую, полегче, но тот покачал головой: «Нет, лучше эту возьмем». «Так ведь тяжелая», — сказал Рототаев. «Зато ведь это — рейка». — Чепига ответил с каким-то особым уважением в голосе, как говорят о необходимой, незаменимой вещи. Рейки — самый простой инструмент гляциологов, хотя работа с ними и требует изысканной точности. Рейки вбивают в снег в разных местах ледника, с максимальной точностью отмеряют положение в трехмерном пространстве и оставляют. Через некоторое время — иногда через несколько месяцев снова отмечают их положение, определяют насколько и в каком направлении сместился ледник.

...Отсюда, с вершины Чач-хоха, казалось, можно увидеть все горы Кавказа. Вот он — Казбек, до его макушки рукою подать. А вдалеке — снежная шапка Эльбруса, а прямо внизу, под нами — долины, залитые солнцем. Здесь ветер, мороз, там приближается лето. С этой вершины в ясный день можно увидеть земли километров за сто вокруг. Здесь тихо и на снегу оставляют следы одни гляциологи.

Часа через три Чепига вернулся — немного усталый и злой. Чертыхаясь, он рассказал, что засек только мою рейку, а две другие даже и не увидел. День его работы пропал. Когда мы вернулись в лагерь, Виктор, раздевшись до пояса, прыгнул в шурф и присоединился к товарищам. Он поворчал о чем-то немного — видно, по поводу реек, и замолчал недовольно. Рототаев был недоволен и не скрывал своего недовольства Чепигой, поскольку на другой день приходилось начинать все сначала, а завтра бы надо делать другое, потому что каждый день на леднике расписан, оставаться дольше просто не было времени, да и продуктов мы взяли на определенное количество дней...

1972 г.

Ледники Колка, Майли, Сев.-Осет. АССР.

## ИДЕМ НА ЦИКЛОН

По правде сказать, мы не охотились за циклоном, и даже не ждали его. Он остался верен своим повадкам и появился неожиданно, неслышно подкравшись на мягких тигриных лапах. Дикие и неукротимые в южных широтах, в мгновение ока сметающие города, бросающие океанские воды на сушу, забредая на север, циклоны теряют злость и энергию, словно бы утомившись собственным буйством. Но все равно — это

циклон. В северных широтах он делается похожим на укрощенного, усталого хищника, который кажется зрителям спокойным и равнодушным, но в какой-то момент, в припадке ярости обретающего вновь свой настоящий характер, характер независимого, сильного зверя.

Здесь, на Мысе Шмидта, было глубокое синее небо, океан до самого горизонта расставил свои ледяные торосы, — мертвый, кажется, лунный пейзаж, а с другой стороны горизонт окаймлен плавной линией сопков, залитых жемчужным светом. И, глядя на все это, с трудом представляешь себе, что где-то в Беринговом море, неподалеку от американских островов Прибылова, штормит и небо сплошь затянуто тучами — там властвует мощный циклон.

Пока мы ехали к самолету, Виктор Толкачев и Володя Иванов рассказали мне, что циклон этот — поток теплого воздуха, идущий с юга на север, обнаружил только что спутник и что пролететь нам для встречи с ним предстоит около полутора тысяч километров.

А в это время неподалеку от аэродрома, на радиометеоцентре, Миша Прокофьев заряжает в телетайп перфорированную ленту с закодированным вызовом американского радиста Джима Коля. Телетайп бойко пощелкивает, посылая в эфир несколько легкомысленную фразу: «Рыжая лиса прыгает через ленивую собаку». Фраза эта хороша тем, что в нее входят все буквы английского алфавита. Для настройки очень удобно. Джим, получив столь содержательное послание, тут же отправляет «собаку» в обратный путь через океан, и она в целости и сохранности выскакивает возле Михаила на втором телетайпе.

Прокофьев, быстро перебирая пальцами клавиатуру телетайпа, посылает первую телеграмму.

— Добрый день, Джим. Как у вас с погодой?

Коль тут же отвечает:

— Привет, Майкл. У нас — порядок. А что у вас?

Ну вот, теперь можно работать.

Самолеты — советский «Ил-18» и американский «Конвейер-990», — разделенные двумя тысячами километров, взлетают одновременно и направляются в один квадрат Берингова моря. Там, во льдах, их ждут корабли — американский «Стэйтен Айленд» и советский «Прибой». На борту «Ила» связь с американским самолетом будет поддерживать Володя Иванов.

Внутри самолет весь уставлен приборами. Они в первом салоне — сразу за кабиной пилотов, и во втором, и в хвосте — комплекс для измерения метеопараметров, спектрометры, радиометры, актинометрические приборы, определяющие, сколько тепла приходит из космоса и сколько его с земли излучается, установка для аэрофотосъемки и еще прибор с этаким домашним названием — тепловизор, с помощью инфракрасных лучей измеряющий на расстоянии тепло любого нагретого тела — даже льда. Все в мире относительно, а в физике — тем более, так что лед по отношению к холодному воздуху тоже можно считать нагретым.

Я назвал далеко не все приборы, установленные в самолете, — это большая современная геофизическая обсерватория, предназначенная для очень широкого комплекса исследований. Такие же приборы установлены на американском самолете, так что сравнивать полученные результаты будет, в общем, нетрудно. Труднее их получить.

Перед экспедицией стояли три главных задачи: море, лед, осадки. Коротко о каждой из них. В море ученых интересуют физические характеристики открытой морской поверхности, его волнение, каковы

условия, влияющие на него. Это физика «чистой воды». Но и у биологов тут тоже есть свой интерес: по пене волн можно судить о биологической продуктивности моря.

Циклон, на свидание с которым мы вылетели, — исследование, в общем, не запланированное. Этот южный бродяга редко забредает в северные широты — тем интересней его визит для ученых.

Сейчас, слушая сводку погоды, мы часто слышим: «Циклон», «антициклон» и даже посмеиваемся, когда метеорологи, просчитавшись с прогнозом, объясняют свою неудачу проделкой циклона. Но все дело в том, что действительно циклоны возникают часто внезапно и, распространяясь с огромной скоростью — до трехсот километров в час, нередко застают стражей погоды врасплох. Циклон — это поток теплого или холодного воздуха, или, как говорят физики, Центры высокого и низкого давления.

Так вот, сейчас-то мы часто слышим термин «циклон», а ведь сравнительно недавно его еще не было. Его изобрел и ввел в конце прошлого века некто Пиддингтон, председатель морского суда в Калькутте. Этот человек был страстным коллекционером и самозабвенно собирал тайфуны. В его коллекции несколько сот описаний тайфунов. Однажды, наблюдая поединок мангусты и кобры, он и придумал термин — «циклон». По-гречески это значит «извивы змеи». И подумал, что лучшее описание, лучший образ для тайфуна вряд ли можно найти. Тем более что была здесь раньше великая путаница, и в каждой стране тайфуны звали по-своему.

...Через два с половиной часа полета мы приблизились к зоне, в которой продвигался циклон. Володя Иванов вышел на связь с американским «Конвейером». Скоро можно будет начать измерения.

Если бы не гудели двигатели, в самолете, наверное, воцарилась бы мертвая тишина. Все сидели у своих приборов, внимательно следя за их показаниями (вспомнилось, как мы шутили вместе с Прокофьевым и Ивановым: «вздрагнули стрелки показометров, засветились экраны смотрографов»). И вообще, если бы не этот шум да вибрация, можно было бы подумать, что мы сидим в обыкновенной лаборатории, что вот-вот зазвонит телефон или кто-нибудь встанет и, отворив дверь, выйдет в коридор покурить. А высота меж тем — девять тысяч метров, под нами — далеко внизу — океан, скрытый сплошной пеленой облаков, а до ближайшего берега лететь часа полтора, никак уж не менее.

Потом в иллюминаторы правого борта мы увидели американский «Конвейер». Он подходил к району исследований с другой стороны, был сейчас далеко, даже и в светлом, бездонно синем небе казался яркой звездой, летящей чуть выше нас. Как-то раз, в один из предыдущих полетов, самолеты сблизились и, как водится, покачали, приветствуя друг друга, крыльями.

Небо померкло, когда мы снизились и вошли в циклон. Самолет дрожал в напряжении, плоскости его упруго подрагивали, и иногда — в какое-то мгновение — он свободно падал, проваливался, но мощные двигатели подхватывали это падение и увлекали машины вперед. Прорезав тучи, мы увидели внизу океан. Летели мы низко — здесь, на высоте ста пятидесяти метров, предстояло сделать замеры, и мы хорошо видели огромные, кажется, ленивые волны. Они были белыми гребнями, которые свирепый ветер срывал и на глазах растворял. Океан был похож на бескрайнюю грифельную доску, покрытую изящными арабскими письменами. Белые строки шевелились и изгибались... Приборы показывали волнение восемь-девять баллов.

«Начинаем площадку!» — раздался в репродукторах голос научного руководителя полета. И снова измерения, измерения... Весь полет — все семь часов — почти непрерывные измерения...

Потом мы вошли в полосу густого, плотного снега, температура воздуха за бортом резко уменьшилась, началось оледенение. Тоже небольшой подарок циклона. На сообщение о начале оледенения никто никоим образом не прореагировал — было и пройдет, дело обычное.

Ко мне подсел Владимир Мелентьев, заместитель научного руководителя экспедиции — возбужденный, чем-то очень довольный: «Понимаете, только что нам впервые удалось замерить тепловое излучение мокрого снега». И Мелентьев сразу же убежал обратно к приборам. Это большая удача. До сих пор этого сделать не удавалось еще никому.

Наш «Ил» неся над волнами, весь содрогаясь и то и дело подсакивая, как автобус на неровной, плохо мощенной дороге. На всякий случай, чтобы не было излишних сомнений, кто-то объявил в репродукторы: «Болтанка умеренная...» Это точно. Поумерить ее не мешало бы.

...На мысе Шмидта мы сядились уже под вечер. Темнело, дул резкий с поземкой ветер. Начинаясь пурга.

1973 г.

Мыс Шмидта.

## ЗДРАВСТВУЙ, ЛУАНДА — ПРОЩАЙ, ЛУАНДА!

Нежное имя... как тихий, ласковый голос струны. Так могли бы звать девушку — юную темнокожую красавицу с большими, немного наивными глазами, влажными, блестящими, словно маслины. И с полными губами, которые в лукавой улыбке обнажают ослепительно белые зубы.

Здравствуй, Луанда...

Но это город. Большой город, один из самых красивых в Африке. В этом прекрасном городе мне пришлось пережить детективную историю, которая едва не кончилась очень плохо. Это случилось в тот год, когда Луанде исполнилось ровно четыреста лет.

Время для нее было тяжелое, смутное. Люди, живущие здесь, и самый воздух, которым они дышали, были настолько наэлектризованы, что, казалось, в любое мгновение могла случиться взрывная разрядка.

Четыреста лет колониального бремени... И только вот в те дни, после долгой и кровопролитной борьбы, над жаркой землей Анголы пронесся свежий ветер.

Не сразу попал я в Луанду.

...Мы пересекли черную тень, брошенную поперек шоссе полосатым шлагбаумом, и ступили на землю Анголы. Из окна небольшого строения на нас равнодушно смотрел офицер в португальском мундире. Судя по всему, выходить к нам он не собирался. Было жарко, воздух лежал недвижимым жарким пластом, и офицеру вовсе не хотелось покидать помещение, в котором старый вентилятор с большими лопастями, напоминавшими весла, обдавал прохладными волнами.

А впереди лежала саванна — почти в рост человека трава с сочными стеблями, скрывающая стволы невысоких деревьев до самой кроны. По-



всюду виднелись гигантские зонтики акаций, в которых гнездились большие белые птицы. Несколько грифов кружилось над ними... А дальше, закрывая горизонт, поднимались зеленые холмы, сплошь поросшие лесом. Казалось, на землю выброшено зеленое махровое покрывало... Удивительное ощущение: таким знакомым кажется этот пейзаж...

Когда мы вошли в караульное помещение, офицер надел берет с серебряной шестиконечной звездой на боку и вроде бы оживился: все-таки свежие люди, можно поговорить хоть немного. Он удивился, что нас никто не встречает, потому что до Кабинды, куда мы должны были ехать, почти сто километров, а транспорта никакого, так что нам пришлось рассчитывать только на случай, если удастся уговорить шофера попутной машины. И если будет эта машина. А шоссе нельзя сказать, чтобы было особенно оживленным: за два часа лишь один старенький пикап ушел из Анголы в сторону Конго.

Ромас, товарищ из МПЛА, присоединившийся к нам еще в Конго, рассказал, что больше всего провокаций, яростнее всего нападки на его организацию. Это понятно: МПЛА была главной силой во время освободительной войны, все четырнадцать лет МПЛА выступает с прогрессивной демократической программой.

Да, трудные дни переживает Ангола. Очень накалена атмосфера ее. И не только знойное африканское солнце ее накаляет. Именно сейчас, когда до выборов осталось всего несколько месяцев, политическая обстановка в стране обострилась. Португальский офицер на границе сказал, что въезд в страну для иностранцев фактически запрещен и что он может выдать лишь временное разрешение на въезд — только в Кабинду и только на три дня. Без всякого интереса он осмотрел наши паспорта и выдал каждому по листку бумаги с эмблемой португальской полиции, поставил подпись, скрепил печатью.

Мы поймали грузовичок и уже собирались уехать, когда офицер вышел на улицу, подошел к одиноко стоявшей мачте, прицепил к тросу и поднял красно-зеленый португальский флаг. Сделал он это совершенно равнодушно и без всякого энтузиазма, словно бы сомневаясь — стоит или не стоит трудиться. Так, пустая формальность...

Машина ехала в сплошном зеленом коридоре, стены которого образовывали сначала высокие травы, потом, когда дорога стала обвивать подножия кудрявых холмов, — вековые деревья, с которых свешивались сухие канаты лиан. И множество птиц — в небе, в кронах старых деревьев, в траве — яркие, пестрые птицы Африки. Когда дорога поднялась на возвышенность, оставив нас позади, в низинах зеленой чащи, в лицо ударил соленый ветер. Справа открывал свой простор океан. Ни дыма, ни паруса — пустое по всему горизонту пространство. Если остановиться здесь и постоять, можно забыть о двадцатом веке: все, кажется, осталось таким, каким было многие сотни лет назад...

Но нет: вот брошенная проржавленная нефтяная вышка. Чуть дальше — другая. Над ней трепещет пламя: горит газ. И в океане, прямо из воды поднимаются во многих местах алые пламенные языки. Земля Кабинды очень богата нефтью.

И все-таки, только въехав на улицы Кабинды, я понял, сколь напряжена здесь обстановка. Повсюду — лозунги. На стенах домов наклеены афиши, на тротуарах и на проезжей части улиц написано масляной краской: «Да здравствует Унита!», «Только — ФНЛА!», «Привет МПЛА, да здравствует социализм!» Повсюду, куда ни помотришь, бросаются в глаза эти надписи. Одна из надписей на проезжей части была прочеркнута

жирными черными полосами — водитель, видно, разгонял и резко тор-мозил на самом лозунге. Он был написан нитрокраской, и другим спосо-бом от него было бы трудно избавиться. По всей центральной улице го-рода собрались большие и маленькие группы людей. Я привык видеть такие скопления дома, неподалеку от стадиона, накануне футбольных решающих встреч: люди собираются, чтобы обсудить последние фут-больные новости. Но здесь на карту поставлено много большее — здесь решается судьба всей страны. И вовсе не мирное настроение у этих лю-дей.

Утром другого дня, когда мы должны были лететь в Луанду, возле нашего отеля уже собралось несколько групп. Увидев нас, люди сош-лись и объединились в толпу. Мы погрузили в машину вещи и хотели уж ехать, когда от толпы, прямо на наших глазах все более и более рас-палывшийся, отделился высокий бритоголовый лидер в очках, выступав-ший гораздо активней других, и направился к нам. Он стал требовать, чтобы мы объяснили, кто мы и куда направляемся. Товарищи из МПЛА, сопровождавшие нас, предупредили, чтобы мы ни в коем случае не от-вечали: это люди из ФНЛА — национального фронта освобождения Ан-голы, и могут возникнуть серьезные неприятности, если они узнают, что мы журналисты и что с нами люди из МПЛА.

Лидеру, однако, в нас что-то очень не нравилось, и он стал обра-щаться к толпе, тыча на нас пальцем и показывая плотно сжатый кулак. Возбужденная оратором толпа придвигалась все ближе к машине, и на-ши товарищи уже всерьез волновались. Но вот погрузили последние ве-щи, и водитель с облегчением нажал педаль газа. Лидер угрожающе кричал вслед, поднимая вверх кулаки, и толпа ему вторила...

В аэропорту было пусто. Самолет в столицу летает два раза в неде-лю, а все остальное время в Кабинде садятся и взлетают лишь небольшо-шие десятиместные самолетчики. Здесь товарищи из МПЛА выдали нам в руки билеты, на которых были проставлены португальские имена. Я, к примеру, превратился в Амброзио Леонида Гаспара. Вероятно, этого не следовало делать, учитывая сложную обстановку в Анголе. Представ-ляете, в стране появляется международная делегация журналистов, и все в ней — под вымышленными именами! Но, как объяснили наши товарищи, это была единственная возможность проникнуть в Луанду.

Вот как случилось, что дон Амброзио Леонид Гаспар вместе со сво-ими коллегами-«португальцами», так же мало похожими на последних, как и он сам, отправились в Луанду, самую горячую точку страны.

Самолет летел сначала над океаном, потом над зеленым берегом, врезавшимся в лазурь, казавшуюся сверху абсолютно спокойной. И толь-ко на берегу, на широкой золотой ленте песка, можно было видеть бе-лую пену иссякших валов. А чуть позже под нами открылась Конго. В иллюминаторы низко летевшего самолета хорошо видно, как широ-кая мощная река вливалась в океан, смешивая свои и океанские воды.

Пустынны в этих местах берега великой африканской реки. Буйный тропический лес со всех сторон наступает на Конго, свешивая кроны старых деревьев над быстрыми водами. Ни следа человека — ни хижи-ны, ни просеки, ни единого дымка от костра...

Мы сидели в кабине молча, стараясь не разговаривать. Провожав-шие нас товарищи из МПЛА предупредили, что держаться надо так, чтобы ни у кого не вызвать подозрения, что мы иностранцы. Делегация наша была разноязыка — восемь человек говорили по-английски, по-не-мецки, по-французски, по-русски, но только один из нас — Марсел-ло — говорил по-португальски. Иногда он произносил негромко что-ни-

будь, обращаясь к кому-то из нас, и тот понимающе кивал, чтобы у пассажиров самолета не возникло сомнения или желания задуматься — почему это мы все время молчим.

В аэропорту Луанды пусто. В жаркое время дня жизнь в городе замирает. Но как только мы вышли из здания аэропорта, на нас набросилась ватага босоногих мальчишек, пытаясь отнять кладь и донести ее до такси, чтобы заработать какую-то мелочь. С трудом отстояв свои вещи, мы спрятались под навесом от солнца.

Отсюда я хорошо видел этих мальчишек. Они худы, многие одеты в лохмотья, почти все босоноги. Среди них можно было увидеть и чистильщиков с кое-как сколоченными ящичками, и носильщиков, которым посчастливилось подхватить чемодан иной раз значительно больший, чем сами они. Некоторые чемоданы наверняка так же тяжелы, как сами мальчишки. Другие подбегали к выходящим из здания пассажирам и говорили одно только слово: «Такси?» Получив ответ, убегали и вскоре появлялись, сидя рядом с водителем с видом победителя в «Мерседесе», в «Форде» или в какой-либо японской машине. У этих, в машине, был вид победителей. Иногда они бежали во всю мочь рядом с машиной, держась на бегу за дверь или за крышу, показывая своим конкурентам, что эту машину взял он, для своих пассажиров.

Тут иногда происходила настоящая схватка: подбегал парень постарше и старался оттолкнуть истинного хозяина положения, завладеть будущим заработком. И все это на бегу. Погрузив в багажник вещи, они протягивали руку и молча ждали, когда им что-то дадут. Я видел, как один маленький, лет десяти, мальчик пошел, сжимая в кулаке добычу, и как за ним кинулся парень много старше его. Они бежали через всю площадь, и маленький что-то кричал, с отчаянием оглядываясь на преследователя. Когда тот настиг его, схватка была недолгой: парень схватил мальчика за руки и стал выламывать их, отнимая монеты...

А город, казалось, ждал каких-то важных событий. На улицах — множество патрулей, много грузовиков, набитых солдатами. Наш старый пикап, нанятый по случаю, чтобы добраться до штаб-квартиры МПЛА, обогнала колонна машин с флагами. Солдаты держали автоматы между коленями и громко, возбужденно пели. В конце колонны шел крытый фургон с установленными на крыше репродукторами. Из них неслись звуки гимна. Пел солдат, сидящий в фургоне. На фургоне написано: «Вива ФНЛА!». Навстречу шла другая колонна с солдатами, один из них держал транспарант, на котором можно было прочесть: «Вива Савимби! Савимби — бог черных!» (Джонас Савимби — лидер организации Унита. — Л. Р.). Встретившись, шумные колонны полностью заглушили друг друга, наполнив улицу невообразимым гамом и грохотом. Потом они разъехались в разные стороны.

...А ночью меня разбудила автоматная очередь. Потом я услышал другую, третью, одиночные выстрелы. Стреляли в городе, где-то неподалеку от отеля, где мы разместились.

Утро было тревожным. В направлении к центру города проехало несколько санитарных машин, разгоняя оставшуюся еще тишину воем сирен. Я вышел на балкон и увидел совершенно пустую улицу, а внизу, у входа в отель, двух автоматчиков. Они прохаживались по площадке перед входом, то и дело оглядываясь. Я понял, что в городе произошло нечто серьезное и друзья выставили солдат для нашей охраны. Впрочем, пока мы могли только строить догадки, потому что спросить, разузнать что-то было попросту не у кого.

Мануэл Ван Дунен, первый секретарь молодежи МПЛА, пришел крайне усталый, при первом же взгляде на него стало ясно, что он ночью не спал. Он рассказал нам, что части ФНЛА напали на штаб-квартиру МПЛА, пытаясь застать врасплох, но были отбиты. Солдаты МПЛА, которых поддерживали люди, жившие на прилегающих улицах, перешли в контратаку, взяли и разрушили до основания штаб-квартиру ФНЛА. Мануэл сказал жестко: «Этой ночью мы победили».

Это было первое серьезное вооруженное столкновение между ФНЛА и МПЛА после окончания войны. Все три партии Анголы, выступавшие единым фронтом во время борьбы за независимость, теперь, когда она фактически уже завоевана, обнажили внезапно проступившие идейные противоречия. Этой ночью они достигли апогея и вылились на улицы спавшей Луанды.

К нашему приезду позиции МПЛА в стране стали еще более прочными. И с каждым днем буквально, потому что время в Анголе шло ускоренным шагом, позиции эти укреплялись. А борьба продолжалась. Внутренняя, скрытая внешне. И такая, как этой вот ночью, когда люди взяли в руки оружие. Да, именно сейчас решается вопрос, какой быть Анголе.

Где-то к середине дня перестрелка возобновилась и продолжалась до вечера. Но в нашем районе было тихо, жизнь шла своим чередом, и мне казалось невероятным, что где-то неподалеку гремят неумолчные выстрелы и день этот для многих может оказаться последним в их жизни. А здесь, на окраине города, люди приходят в магазины делать покупки, нянчат детей, заходят в ресторан пообедать или пропустить кружку-другую холодного пива.

Вместе с Иржи Яношеком, моим товарищем из чехословацкой молодежной газеты, мы решили пройти по дороге, идущей в сторону от шоссе, туда, где виднелись низкие, непонятных очертаний строения. Собственно, это была не дорога, а скорее проселок — с колеями, в которой росла жесткая, высохшая на солнце трава с мягкой бархатной пылью. Здесь начинался район бедняков. Лачуги, сколоченные из ящиков, из обломков досок, обрывков ржавого листового железа. Не дай бог — сильный ветер, и все это рухнет... Вокруг — пустыри, свалки мусора. Наверное, и сто лет назад здесь можно было увидеть точно такую картину. Разве что ветхие жилища порушились и на их месте встали другие. Луанда хорошела от века к веку, становилась пышнее, богаче, а люди, живущие здесь, теряли последние крохи. Нет, не умеет жизнь быть одинаково справедливой для всех...

Возле одной из лачуг я увидел малыша лет четырех, голой попкой сидевшего на земле. Черной ваксой, оставшейся в банке, найденной, видимо, неподалеку, на свалке, он усердно красил целлулоидную розовую куклу. У куклы не было ног, и только одна рука, но это все же игрушка. Вполне возможно — единственная. Люди, которые живут здесь, не могут покупать своим детям игрушек. А рядом с малышом — две собаки. Сидят, высунув от жары длинные языки и часто дышат, вздымая худые бока. Тени нет, потому что солнце в зените, а деревья возле лачуг не растут.

Два старика, черные, как остывшие угли, и совершенно седые, сидят, прислонившись к стенке хибары, молчат, положив худые длинные руки себе на колени. Увидев нас, настороженно разглядывают. Видно, белые люди редко заходят сюда. Потом кивают, машут приветливо. За всю жизнь эти старики так и не смогли заработать на кров...

Мужчина, высокий, худой и крепкий, как ствол черного дерева, рубил топором толстый раскромсанный пенёк. Торс мужчины, совершенно мокрый от пота, блестел, как хорошо полированный мрамор. Увидев меня, опустил топор, насаженный на длинное топорщице, внимательно оглядел, потом кивнул, улыбнулся. И вновь неторопливо стал махать топором, куда спешить — время есть...

Трое мальчишек прошли навстречу нам по дороге. Они азартно спорили и непрерывно смеялись, у каждого в руке — по банану. Поравнявшись с нами, замолчали. Вежливо поздоровались. Пройдя несколько шагов, оглянулись и приснули.

А в городе снова стреляли. Я прочитал о Луанде в старой энциклопедии: «Сан Пауло де Луанда основан в 1575 году Пауло Диаз де Навасом. Одна из лучших гаваней Африки, но мало-помалу заносится песком. Существует тайная торговля рабами. Для европейцев климат нездоров: слишком жарко. Питиевая вода приходит по каналу из-за 69 км. Вывоз кофе, воска, гумми, слоновой кости. Содержит не более 15 тысяч жителей».

Вот и все. В самом конце прошлого века Луанда оставалась такой. Нефть, золото и алмазы лежали еще нетронутыми.

...В центр города нам ехать не разрешили: это рискованно. Кругом — оцепление, никого не пускают, автоматчики останавливают и осматривают все машины, обязательно проверяют документы. По нашим же документам нам не следовало находиться в Луанде. Так возникла проблема: приехать-то мы приехали, но как отсюда нам выбраться? Ни в один международный аэропорт Анголы с нашими документами являться нельзя, а выехать из города на машине в такой ситуации — тоже задача, поскольку дороги все перекрыты. Мануэл сказал, что на следующий день, быть может, удастся раздобыть небольшой самолет и отправить нас в Конго.

Ночью мы поднялись на крышу отеля. Отсюда далеко видно во все стороны: океан, где катились на берег могучие волны и где плавно двигались огни кораблей. Центр города, где рыскали беспокойно прожекторы, высвечивая деревья и стены зданий. То и дело доносились автоматные и пулеметные очереди, минометные залпы и взрывы — яркие, мгновенные вспышки. Потом весь центр города разом погрузился во тьму. И еще ярче стали лучи прожекторов и вспышки взрывов. В небе появились осветительные ракеты. Передовая пролегла через центр столицы...

Всю ночь не прекращалась стрельба. Автоматные очереди, тугие удары взрывов... Утром пришел Мануэл и сказал, что в городе очень много убитых и раненых и что все госпитали переполнены. Он сказал еще, что аэродром контролируют части ФНЛА и нам будет крайне сложно проникнуть туда. Однако другого пути для нас не было.

Дорога вела мимо порта. На рейде стояли большие океанские корабли. Один из них покидал бухту беспокойного города, задрав нос и волоча тяжелую, глубоко осевшую в воду корму. Я загляделся на корабли, забывшись на какое-то время. И тут рядом с нами ударила хлесткая автоматная очередь. С другой стороны шоссе прострочили в ответ. И пошла непрерывная перестрелка. Водитель велел нам пригнуться, и сам съехал на сиденье так, что над баранкой виднелась только его макушка, ну и, конечно, глаза. Машина медленно ехала по совершенно пустой улице. Ехать быстро опасно: кто-нибудь из стреляющих может подумать, что мы спасаемся бегством, и пустить для профилактики очередь в нас.



Впереди показались солдаты. Короткая перебежка — спрятались за угол. Один встал за фонарный столб, держа автомат у плеча. Я подумал, глядя на него: неизвестно, откуда он — из МПЛА или из ФНЛА, но было бы лучше, если бы он пока не стрелял. Из-за угла показался другой автоматчик, стоя на колене, он внимательно разглядывал противоположную сторону улицы. Оттуда, из-за бетонного забора, неожиданно выскочил автоматчик и дал короткую очередь. Те двое разом ответили. Стрелявший первым упал на землю, снова выпустил короткую очередь и отполз за забор. Тут мы и проехали. Автоматчики слева показали нам, чтобы мы пригнулись еще ниже и проезжали быстрее.

В центре города, а миновать его мы никак не могли, перестрелка была оживленной. Люди, которых она застала на улице, прятались за каменным ограждением зданий, просто лежали на тротуарах, боясь поднять голову. Здесь наш водитель прибавил газу, и машина понеслась по вымершим улицам, мимо роскошных витрин, возле которых в такое утро вряд ли кто остановится, и въехала в кварталы, контролируемые частями ФНЛА.

На большой скорости нас обогнал большой грузовик с солдатами португальских колониальных войск. Солдаты все — белые, в комбинезонах, замаскированных неровными коричневыми пятнами. Они сидели на длинных скамьях, укрепленных в два ряда вдоль кузова. Кузов без бортов. Очень удобно: в случае необходимости из машины можно в один момент вывалиться. Все солдаты держат на коленях тяжелые, массивные автоматы, лица — угрюмы. Подумал, глядя на них: им-то за чем все это надо?

И вновь вспомнил того португальского офицера на границе Кабинды. Думаю, он без всякого сожаления покинет Анголу. Он говорил, что его дом в Португалии, что здесь он только лишь служит и что очень долгое время не видел жены и детей. Он случайно тут. И все, что вокруг, — не его. Он знал это всегда.

Да, слишком много сейчас в Луанде людей с автоматами...

К аэропорту мы подъезжали задворками, с той стороны, где размещаются ангары аэроклуба. Меж ними — множество ярко раскрашенных самолетов. Где-то здесь должен быть готовый к отлету самолет с пилотом из МПЛА...

Мануэл волнуется за нас. Он еще раз напомнил, чтобы мы ни в коем случае не говорили на своих родных языках. К небольшому строению, где оформляются документы на вылет, мы подошли с некоторым опасением: в любую минуту может вскрыться, что мы иностранцы. Подумал невольно: да, как бы не сорвалось сейчас все это наше предполагаемое, сомнительно приятное воздушное путешествие в Конго...

Пилот, оказывается, будет из ФНЛА, наш заболел.

Очень нервничает Мануэл... Лицо спокойно, глаза выдают. Мануэл сам предъявил наши билеты полицейскому офицеру и пограничнику. Кажется, все обошлось.

Автоматные очереди раздавались уже совсем неподалеку от аэропорта. Он был закрыт. Лишь звено грязно-зеленых истребителей прорезало воздух.

Бежит Мануэл, машет руками радостно: можно садиться. Прощаемся.

Пилот захлопывает изнутри дверцу, приветливо здоровается с нами, проходит согнувшись — очень тесно в чреве самолета, — на свое место. Сразу же он запускает двигатели и вырывается на взлетную полосу. Вот

она, вся перед нами — широкая и, кажется, бесконечная. Двигатели запущены на полную мощность. Мы достаем свои аппараты — готовимся снять Луанду через окошко, с воздуха.

Пилот говорит что-то по радию, ему отвечают. Потом рев двигателей внезапно стихает. На взлетную полосу выскакивает маленький желтый жучок с мигающим глазом — полицейский «фольксваген», подлетает к нам и уводит наш самолет за собой, к зданию аэропорта, где не было и не могло быть ни одного пассажира, но где выстроились в ряд автоматчики.

Нас провожают в полицейский участок, и здесь очень быстро выясняется, что мы — делегация, прибывшая в Анголу по приглашению МПЛА. Паспорта наши посмотреть никто желания не выражал. Я подумал, что в полиции давно уже знают, кто мы, но все это время не могли напасть на наш след.

Полицейский офицер говорит о нас с кем-то по телефону. Затем кладет трубку, встает и, оправив ремень на мундире, сообщает, что с нами желает говорить министр внутренних дел.

Очень лестно, конечно. Хотя лично я предпочел бы с ним не знакомиться. Мы знали, что в переходном правительстве пост министра внутренних дел занимает представитель фронта ФНЛА.

Нас провели через коридор, образованный автоматчиками, и посадили в лендроверы, у заднего борта которых уселись по два автоматчика, третий сел рядом с водителем. Мы проехали по улицам пустынной Луанды, подкатили к невысокому серому зданию. Тяжелые ворота медленно отворились и пропустили нас внутрь.

И мы оказались в тюрьме.

Документы по-прежнему нас никто не просил показать. Да и зачем это? И так все ясно. С самого начала ясно. Система осведомителей министра внутренних дел сработала безукоризненно, хотя и с некоторым запозданием. Еще одна-две минуты — и наш самолет поднялся бы в воздух. Забегая немного вперед, скажу, что это предположение относительно того, что о нас знали, но на время потеряли из поля зрения, подтвердилось чуть позже.

Несколько дней спустя Мануэл сказал, что когда мы покинули отель в Кабинде, в Луанду, в соответствующую организацию, пошла телеграмма. Но пока еще никто не знал, куда мы отправились. Можно было только предположить, что в Луанду. А в самолете пилот из ФНЛА заподозрил в нас иностранцев — да и немудрено — и доложил об этом по радио.

...Ожидание в тюремном дворе длилось довольно долго. Потом к нам подошел необыкновенно благообразный господин, одетый со вкусом, безукоризненно. Он не представился и крайне обходительно сообщил, что министра сейчас нет. Когда он сможет с нами говорить — неизвестно. Может — через час, может — через три, может — завтра утром, а может — еще через несколько дней. «Сами понимаете, — говорил Благообразный, — в Луанде такое положение. Сейчас министру не до вас. У него много своих забот».

Мы пытались заявить протест, требовали немедленно сообщить о факте незаконного задержания международной делегации в наши посольства в ближайших странах. Но бесполезно. Благообразный очень вежливо сообщил, что он лицо неофициальное и никаких протестов принять не может. Единственное, что он может сейчас сделать для нас, — это отвести пообедать.

Нас провели через весь двор, забитый полицейскими лендроверами, автоматчиками и полицейскими с резиновыми дубинками у пояса и тяжелыми пистолетами, и подвели к решетчатой двери из толстых стальных брусьев. Тюремщик в синей униформе без знаков различия достал связку огромных ключей, позвякивая, перебрал ее, словно четки, выбрал один ключ — сантиметров в пятнадцать длиной и отомкнул тяжелую дверь. Нам предложили пройти внутрь, мы прошли. Дверь за нами заперли тут же.

Мы стояли в полутемном коридоре, куда выходило несколько дверей в виде массивных решеток. За каждой из них была камера. Тюремщик обыскал нас, забрал металлические предметы, потребовал вынуть ремни из брюк. Потом выбрал другой ключ, такой же внушительный, как и первый, и ввел нас в камеру. Тяжелый замок за нами с лягом защелкнулся, задвинулась со скрежетом стальная щеколда. Я понял, что обедать мы будем несколько позже.

В камере полумрак. Свет проникает лишь из плохо освещенного коридора. Наверху, в высоком окне, виден помост. На нем стоит автоматчик и без интереса смотрит на нас. Тесновато. Насыщенный запах туалета, который нечасто и не слишком тщательно моют. Собственно, туалет — это слишком изысканно сказано.

Мы не одни будем жить в этой камере. Неисчислимое множество огромных жуков, похожих на тараканов. У них явно крокодильские наклонности: бегают они очень похоже на крокодилов — короткими, стремительными перебежками, при случае набрасываются и пожирают друг друга. Некоторые достигают в длину четырех-пяти сантиметров. Славенькие такие жучки.

Разглядываю стены камеры. Они сплошь покрыты надписями и незатейливой росписью. К своему удивлению, нахожу на одной из стен знакомое имя: «Ван — Дунен». Показываю Мануэлу, спрашиваю: «Сидел здесь?» Он улыбается: «Нет. Здесь не сидел. Наверное, это написал кто-то из наших».

Неожиданно возле двери камеры появляется Благообразный. Нас приглашают выйти на улицу. Неужели все недоразумения так быстро рассеялись? Но нет. Нас попросили встать в ряд и затем тщательно сфотографировали — всех вместе и по два-три человека. Мы протестуем — так поступают с преступниками. Благообразный подкупающе улыбается: «Нет-нет, что вы! Это простая формальность! Министр? Министр по-прежнему занят».

Вечером дверь в камеру вновь отворили, вызвали Ван — Дунена и увели. Ни ему, ни нам не объяснили, куда и зачем. Потом мы пытаемся — в который уж раз — вытребовать какое-либо начальство и получить объяснения по поводу нашего ареста. Безуспешно. Тюремщик говорит, что ему запрещено разговаривать с нами. Тюремщик — португалец и как будто относится к нам с сочувствием. Во всяком случае, поздно вечером он принес свой старенький транзистор, оставил его и попросил не включать слишком громко. Если услышат — ему может попасть. Так что теперь у нас есть хотя бы музыка.

Не могу сказать, что эта африканская ночь была для нас романтической. Жарко, душно. Под потолком зажглась очень яркая лампа и горела всю ночь. Неведомо откуда взялись, налетели к нам в камеру комары и москиты, выползали клопы из щелей. Неторопливо пересекла камеру солидная крыса со сплывшей шерстью на боках и спине. Потом — и другая. Я запустил в нее ботинком и, конечно же, не попал. Она прес-

покойно выждала, когда ботинок пролетит мимо, и, посмотрев на меня с плохо скрытым презрением, нырнула в нужник.

Деревянные нары — на четверых, кое-как улеглись всемером. Те, кто лег, на другой бок повернуться уже не могли. А остальным пришлось прилечь на пол. На нарах спали по очереди. Тихонько звучало радио... Марселло проснулся, прислушался и сказал, что в Луанде с девяти вечера до шести утра объявлен комендантский час. Так и быть, не выйдем мы в это время на улицу.

Утро не принесло никаких новостей. Судя по всему, выпускать нас не собирались. Через тридцать часов после того, как мы оказались за решеткой, нас стали по одному вызывать на беседу. Допросом я бы не решился это назвать, поскольку обстановка не была официальной и протоколов никаких не велось. Полицейский офицер осведомился, на каком языке со мной говорить, поинтересовался, есть ли у меня какой-нибудь документ. Я предъявил паспорт и ту справку, выданную на границе Кабинды. После этого разрешили взять некоторые личные вещи.

Да, а нет ли в ваших чемоданах каких-либо лекарств? Лекарств оказалось достаточно: в Африку все-таки ехали. У всех каждый пузырек и каждая облатка вскрывались и индивидуально обнюхивались. Брать лекарств с собой в камеру не рекомендовалось. В заключение офицер пообещал, что наша проблема министром будет разрешена не далее, как сегодня же вечером. Так что хотя мы и вернулись в камеру, но уже с другим настроением.

Жуки, с которыми мы в эти дни делили свой кров, мне кажется, представляют для энтомологов интерес несомненный. Ко всем прочим крокодильским своим достоинствам они, оказывается, претотлично летают. Я одного поддал ногой, а он вдруг взял да и полетел — сначала вдоль пола, потом выше, меж брусьев в окне и был таков.

Вечером нас не освободили. Более того — никто к нам не пришел, чтобы хоть как-то объяснить положение. Мы посоветовались и пришли к выводу, что надо самим предпринять что-то. Мы позвали нашего сторожа, пытаясь выяснить осторожно, чтобы его не спугнуть, нельзя ли неофициально отправить записку, а еще лучше — телеграмму в Бразилию. Он пообещал разузнать. Вскоре вернулся и сообщил, что можно, но для этого нужны деньги. Деньги у нас с собой были. Мы собрали и дали ему. Я написал текст по-русски, его перевели на английский и на французский. Эту телеграмму мы просили отправить в Конго, в Браззавиль, в советское посольство. Для страховки попросили отправить и другую, небезвозмездно, конечно. Как позже выяснилось, одна телеграмма пришла в Европу, в Лиссабон, а уже оттуда — в Москву. Так что, в общем, почта наша сработала. Впрочем, в тюрьме мы этого, конечно, не знали.

После ночи, абсолютно такой же, как и предыдущая, мы уже очень серьезно сомневались в том, что нас собираются выпустить. Нас только лишь хотели успокоить бесконечными обещаниями, что «скоро выпустят». Мы в это не верили. Но уже сделали все, что могли, кроме того, не сомневались, что и товарищи из МПЛА делают все возможное, чтобы добиться нашего освобождения.

Неожиданно увидели в коридоре Ван-Дунена. Он сказал, что нашим делом сейчас занимается премьер-министр Анголы. Сейчас этот пост занимает представитель МПЛА. Он запросил министра внутренних дел о том, где делегация. Тот ответил, что мы в отеле. «Отель» недурен, однако. И еще Мануэл сказал, что вскоре после того, как нас взяли на аэродроме, отель, где мы жили в Луанде, был атакован автоматчиками

ФНЛА. После перестрелки они ворвались в отель, но нас там уже не было. И еще сказал Мануэл, что борьба в городе продолжается.

И новая ночь в старой колониальной тюрьме... Ночь, как и другие, нельзя сказать, что приятная. Облегчения они нам не приносили. Спали плохо, урывками. Не очень-то удобно спать на голых-то досках. Долго на одном месте не вылежишь. Кто-то из ребят оставил включенным транзистор, и из него лилась негромкая музыка. Я видел: никто не спал. Все тихо, неподвижно лежали. И тут из приемника громко ударил первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского. Это было настолько неожиданно, что я даже не нашелся сказать что-то. Но все и без меня уже слушали музыку. Откуда только она взялась здесь, на юге Африки, много южнее экватора... Судя по всему, передавало радио Луанды, потому что сразу после музыки пошли последние новости на португальском языке.

Странное, удивительное это творение — музыка... Рожденная однажды, она может стать неумирающей, вечной. Вот как та мелодия, звучащая в душную африканскую ночь...

Ночью в тюремном дворе взорвалась бомба. Бросили с улицы. Так что полицейские переполошились немного.

...На завтрак подали хлеб, плохо сваренный рис, в сильно мятых оловянных кружках какую-то темно-коричневую жидкость, которая должна бы быть кофе, а на самом деле была чем-то совершенно другим. И всюду, везде нас преследующий под этим кровом отвратительный запах уборной.

Срок освобождения откладывается на неопределенное время. Нам удалось уговорить дежурного офицера и вручить ему письмо для коменданта тюрьмы. Через час пришел другой офицер и сообщил: нас уже сегодня бы выпустили, да нет пока самолета. Повеселились над этим... В другой раз скажут, наверное, самолет сломался, а пилот заболел.

Потом мы объявили голодовку — решили не есть, пока не получим свободу. Впрочем, офицера это нисколько не удивило. Он пожал плечами: «Как вам угодно. Не хотите — не ешьте». Повернулся и пошел.

Нас перевели в новую камеру. Она выходит в этот же коридор, но зато несколько больше, да и места на нарах теперь уже всем хватит. Одно из окон выходит на улицу. Помимо решетки из толстых прутьев, оно закрыто еще и стальной сеткой. Сетка в углу порвана, так что при желании мы можем что-нибудь на улицу выкинуть, скажем, записку. Или что-нибудь можно забросить к нам, скажем, гранату. А потом можно все объяснить элементарным несчастным случаем. Это было бы вполне логичным завершением всей этой нелепой истории. И извиняться не надо. В городе идут бои, так что, полагаю, это никого особенно не удивило бы. Короче говоря, в новой камере мы не чувствовали себя в безопасности.

День был для нас напряженным. Сначала нам заявили, что выпустят в двенадцать часов, потом — в два, потом — в шесть, и в конце концов пообещали освободить на следующий день рано утром. Мы по-прежнему ничего не ели — голодовку решили во что бы то ни стало довести до победного конца.

...А на ночь дверь в нашу камеру почему-то не заперли. Поскольку таких вещей в тюрьме не забывают, значит, это приказ. Чей? Зачем? Что за этим?

Во избежание неожиданных провокаций решили дежурить всю ночь по два человека. Бросили жребий — кому когда надо дежурить. Мне с Аурелем выпало раннее утро — с половины четвертого. Но и до

этого не очень-то спалось. Всю ночь кричали заключенные, некоторые заходили к нам в камеру, выпрашивали оставшиеся сигареты. Навестил наркоман с застывшими, налитыми кровью глазами, весь в лишаях. Сел на нары и приготовился лечь. С трудом его вывели. Потом в коридоре началась потасовка. Уголовники дрались с истинно африканским темпераментом, и никто не собирался им помешать. Драка была жестокой, отчаянной. Потом к нам заполз жалкий мальчишка в рубищах, лет шестнадцати, вряд ли ему было больше. Видно, он перенес полиомиелит и теперь мог передвигаться только на коленях, опираясь о землю тыльными сторонами кистей. На коленях и на кистях от частого трения у него образовалась короста... За что он попал сюда... Какое преступление мог совершить этот мальчишка...

Под утро я вышел в коридор. Возле стены стоял маленький столик. Под ним на полу спал знакомый мальчишка. В углу дремал сидя здоровенный детина с разбитым лицом. Тихо. Бледный утренний свет окрасил часть коридора. Скрипнул замок. Офицеры ввели двух арестованных. Тут же, на столике, сняли у них отпечатки пальцев. Потом увели.

После дежурства мы с Аурелем разбудили Декоса и Матти, но уснуть нам так и не удалось. Лежал и думал: что можно сделать еще, чтобы попытаться прорвать эту бесконечную цепь обещаний...

А уже утром вновь пришел Мануэл. Ему сказали, что через полчаса нас обязательно выпустят. Мануэл не скрывает радости, но я вижу: в его черных выразительных глазах затаилось сомнение. Да я и сам не верю. Столько раз обещали...

Через полчаса нас, конечно, не выпустили. Через два часа — тоже. И еще через два. Около двух часов дня в камеру вошли два офицера и сообщили, что о нашей делегации передало радио Луанды. Причем радио сообщило, что мы уже высланы из Анголы. Комендант тюрьмы якобы позвонил министру и спросил, что с нами делать, поскольку по радио было сказано, что мы уже покинули пределы Анголы. Министр приказал нас выслать при первой okazji. Такая okazия, однако, будет лишь завтра. Лучше бы сразу, немедленно.

Теперь нам разрешили выходить в коридор и даже в тюремный двор. Все эти дни мы ни разу не выходили на улицу. И как приятно после вонючей камеры с углами, затканными черной паутиной, и где на помосте монотонно стучат башмаки автоматчика, хотя бы немного посидеть под солнцем, на воздухе...

Двор небольшой и весь буквально забит машинами. В нише под аркой составлены чемоданы и сундуки. Среди них играют с кошкой совсем маленькие дети. Сушится белье на веревках. По первому взгляду — совсем домашняя обстановка. Не похоже, что местная полиция в состоянии боевой готовности. Зато похоже, что все, кто здесь, в любой момент готовы бежать.

На балюстраде, рядом с кабинетом коменданта, в специальном парикмахерском кресле сидит офицер. На коленях он держит фуражку, в которой лежит тяжелый пистолет в кобуре. Офицера обхаживает солдат-парикмахер. Стрижет уверенно, быстро и тщательно. Парикмахер тоже при пистолете.

Неподалеку, в тени под машиной, прямо на асфальте лежит негр с закрытыми глазами и, держась обеими руками за живот, громко, протяжно стонет. Рядом стоят три офицера и оживленно беседуют. Никто на больного не обращает внимания. Судя по всему, здесь у каждого много своих важных дел...

Дежурного офицера наконец-то я увидел в работе. Он сидел в кабине, устроив сквозняк — видно, вентилятор над головой не приносил облегчения, — и пил пиво из запотевшей пузатой бутылочки, похожей на пузырек для микстуры. Едва содержимое ее иссякло, он, не вставая с места, протягивал руку, открывал холодильник и доставал точно такую же. Конвейер был отлично налажен, и холодильник казался неиссякаемым. Интересно, сколько таких пузыречков опустеет к концу рабочего дня?

Рано утром другого дня нас посадили в лендроверы, рядом занял место конвой, и ворота старой тюрьмы нехотя отворились — через четверо суток после того, как закрылись за нами. Не могу сказать, что прощание с этим кровом хоть немного тронуло нас.

Мы ехали по улицам старого, красивого города, и я подумал, в который уж раз: вот был в Луанде, а так и не видел ее...

Нас подвели к десятиместному самолету, одиноко стоявшему возле здания аэропорта, по привычке попросили вскрыть чемоданы и после этого разрешили садиться.

Прощай, Луанда...

Мы уже летели, когда Марселло, внимательно слушавший ангольское радио, негромко сказал: «Только что передали: в больницах не хватает крови для раненых. Просят сдавать кровь всех, кто может...»

Под нами струились быстрые реки, вздымались и опадали холмы, густо-зеленые, без единой проплешины, а слева ослепительно сверкал океан. Земля Анголы — земля богатая и прекрасная, которая столько лет была в кабале, начинала свой новый день. Мы верили, что день этот будет счастливым и вечным. Потому что если ночь и приходит, то только для того, чтобы дать людям отдых и чтобы они больше, сильнее любили день.

...Уже за границей Анголы я заметил, что Сантос, наш пилот, немного нервничает. Он то и дело смотрел на карту, потом — в окошко. Оказалось, вышел из строя компас. Сантос впервые летел в этих краях и теперь попросту не знал, куда держать путь. В таких условиях карта стала плохим советчиком. Сесть нам тоже некуда было — океан и сплошные леса. Выручил Декос. Теперь мы летели над Конго, страной, где он родился. Декос сел рядом с пилотом и, показывая пальцем вниз, говорил: это город такой, а это — такой. Пока летим прямо, а возле другого города, скоро он будет, надо повернуть направо.

Потом прямо по курсу (Декос мог бы летать штурманом) протянулась широкая лента Конго. Декос обернулся и улыбнулся искренне, широко, как, наверное, может улыбаться только один он. Очень хорошо улыбается Декос.

Через несколько минут самолет бежал по земле Бразавиля.

Уже прощаясь с Сантосом, мы услышали радио. Сквозь треск и эфирные шорохи — Луанда была теперь далеко — голос вновь призвал сдавать для раненых кровь...

Я вернулся в Москву, и очень скоро все, что я видел и пережил в Африке, стало казаться далеким, почти нереальным. Мне даже казалось временами, будто это было не со мной, а с кем-то другим.

Потом я узнал, что случилось большое счастье. Погиб Мануэл. Было невозможно это понять. Я мог представить его только живым.

Бесстрашный Мануэл...

Враги давно ждали случая, чтобы разделаться с ним. Друзья берегли

его, как только могли... И вот не смогли уберечь... Несколько выстрелов из-за угла...

Весть эта была лаконичной, даже сухой — всего два слова: «Погиб Мануэл», но она была такой же горячей, как боль от пули. Она заставила меня забыть о том, где я сейчас, вырвала из привычного образа жизни и вернула в те дни, когда в Луанде стреляли.

Мы уже вырулили тогда на взлетную полосу и ждали, что вот-вот начнется быстрый разбег, а Мануэл стоял на сером бетонном поле аэродрома — один. Даже тени не было возле него. Обжигающее солнце висело в зените, и все тени, как собаки, спасаясь от него, спрятались под ноги людям.

Вот таким он запомнился мне: невысокий, широкоплечий человек с сильной грудью, с кудрявой окладистой, иссиня-черной бородой на умном тонком лице — один на поле. А за спиной у него уже раздавались выстрелы — перестрелка из центра Луанды сместилась к территории аэропорта...

Я думал тогда: увижу ли его когда-нибудь еще, и надеялся — не может быть, чтобы мы никогда больше не встретились!

Мы встретились через пять минут после того, как расстались. Нас схватили, вытащили из самолета, загнали в тюрьму. Мануэл не мог нас оставить, хотя, конечно, понимал, что для него это крайне опасно. Он не терял надежды выручить нас.

Вот как мы оказались в старой колониальной тюрьме. День мы провели в камере вместе. Мануэл спал у меня на плече.

Иногда он мог показаться человеком, безропотно воспринимающим очередной выпад судьбы, и, только приглядевшись, можно было уловить гнев в его взгляде. Нет, он никогда бы не сдался, не уступил. Вот почему враги убили его. Если человека нельзя покорить, то убить его можно.

Нет теперь Мануэла.

К нему можно было прийти с любой болью, которую люди обычно носят в себе. Он выслушивал, говорил — спокойно всегда, уверенно, и человек чувствовал, как его боль под спокойным и добрым взглядом глаз Мануэла стихала...

Нет теперь Мануэла...

Он был слишком популярен в Анголе, держать его в тюрьме враги не решались — к концу первого дня его выпустили. Он пришел на другой день к нам, принес то, что так нужно в тюрьме: поесть, немного из личных вещей. Он бы положил весь город к нашим ногам, если бы мог, если бы ему разрешили... Но то, что он сам пришел к нам, было ценнее всего. Он пришел один, зная отлично, что враги его караулили. Преданный друг Мануэл...

Нет теперь Мануэла...

Трудно уберечь человека, который презирает опасность. Трудно, даже если другие люди готовы отдать за него сразу несколько жизней.

Луанда, 1975 год.

## СЛЕДЫ В ПЕСКАХ

Я повернул кран, и она пролилась на руки — прозрачная, как утренний воздух, прохладная, как стебли травы в тенистом лесу, ароматная, как цветок, умытый росой, — величайшее чудо из чудес — вода! Поэты всех времен и народов воспевали ее, наделяя волшебными свойствами,



но ведь вода не только удивительнейшее, сказочное вещество — она сама жизнь. Мы так же привыкли к глотку воды, как к глотку воздуха, но как часто ошибаемся, думая, что где бы мы ни были, она будет с нами всегда... И лишь в пустыне, либо вернувшись из пустыни, можно полной мерой оценить это сокровище.

Здесь, в Ташаузе, где начинался горячий путь, на краю бескрайнего песчаного моря, люди как нигде умеют ценить ее. Когда в тени плюс 45—47, арыки и каналы, заполненные теплой, мутной от взвеси глины водой, становятся спасительным, для всех желанным местом отдохновения. А в местной гостинице, построенной по канонам современного строительного искусства, в каждом номере непременно найдешь напоминание, звучащее сегодня точно так, как и тысячи лет назад: «Вода — это жизнь! Берегите каждую ее каплю!»

Для семерых отважных мужчин, прошедших по раскаленным пескам Каракумов, вода не просто символ жизни. Вода для них — жизнь. Они несли ее драгоценный запас в резиновых подушках для кислорода из расчета десять литров в день на человека и пополняли этот запас от колодца к колодцу.

Зачем, ради чего они отправились в этот долгий, мучительно трудный путь? Всегда были и будут люди, которые с риском для жизни пересекали моря, океаны, леса и горы и всегда были и будут люди, которые задают этот вопрос. Неполный ответ на него, наверное, будет такой: если есть на свете непройденные пути, должны быть и люди, которые их непременно пройдут. Это нужно им самим, чтобы испытать себя и лишний раз убедиться в том, что человек в конечном счете сильнее стихии. Это нужно и тем, кто пойдет следом за ними: опыт первых будет хранить их в пути.

Далеко не абстрактные и не отвлеченные мотивы увлекли этих людей в переход через пустыню. В безжизненных местах, испокон веков обходимых людьми, прокладываются трассы нефтегазопроводов, идут изыскатели, геологи, работают одинокие метеостанции — множество людей всевозможных профессий проникают в пустые районы земли. Нередко они оказываются в труднейшем положении, когда им приходится рассчитывать только на себя — в жизни бывает всякое, и далеко не всегда эти люди, волей прихотливого случая принявшие вызов природы, с честью выходят из схватки с ней. Нередко они проигрывают, потому что не знают, как поступать, но часто и оттого, что морально совершенно не готовы к этой борьбе.

Не так давно в Каракумах разыгралась трагедия. Два сменных водителя повезли лес для строителей и сбились с дороги. Целый день они блуждали в пустыне, переходя с одной колеи на другую, пока не иссякло горючее. Они взяли запас воды, что еще оставался, и пошли по тавыру в надежде встретить людей. Ночью вода кончилась, и утро они встретили вконец обессиленными. Их искали на машинах, самолетах и вертолетах, но нашли лишь через несколько дней, хотя брошенный грузовик очень быстро увидели. Если бы эти двое знали закон, непреложный для всех, кто терпит в пустыне бедствие, и не ушли от машины, оба остались бы живы...

Семеро прошедших пески Каракумов хорошо и давно знают пустыню. Два года назад пятерка, руководимая Николаем Кондратенко, впервые преодолела пешком пустыню Кызылкумы, и все время, разделявшее эти две экспедиции, группа напряженно и упорно готовилась. Они

на себе испытали и нестерпимый жар песков, и зной беспощадного солнца и жажды натерпелись такой, что только в жутком сне пережить можно. Но именно поэтому, потому что все на себе испытали, они решились ужесточить подготовку к переходу через пески Каракумов.

Перед Николаем Кондратенко, как руководителем столь необычной и трудной экспедиции, стояла нелегкая задача: из 22 человек, регулярно тренировавшихся в особых условиях и в принципе почти одинаково подготовленных, предстояло отобрать только восемь.

Подготовку к нынешней экспедиции начали в прошлом году. Летом, в самое жаркое время, они преодолели 210 километров пустыни и лишний раз убедились в том, что, как бы человек ни был хорошо подготовлен, в пустыне все равно придется тяжело. Путь поэтому оставался только один: все более и более повышать нагрузки и все более и более поднимать к себе требования. В то же время начались занятия с психологом — Владимиром Федоровичем Соповым, который, как считает Николай Кондратенко, очень помог в формировании группы. Был в их компании один человек, по всем внешним показателям и по физической готовности претендующий на место в основном составе, психолог же о нем сказал: «В экстремальных условиях возможны срывы». Дальнейшие наблюдения подтвердили такой прогноз.

Ташауз, откуда начинался маршрут, встретил их несносной жарой, какой давно даже в этих местах не бывало. Песок временами раскалялся до восьмидесяти градусов. Ночами тоже было далеко не прохладно: меньше тридцати термометр не показывал. Самый пик зноя... Но ведь они и хотели испытать его на себе!

Они шли по пескам только ночами, и лишь звезды освещали их путь. За спиной у каждого — рюкзак с запасом воды и пищи, тяжестью в половину собственного веса. Воду — солоноватую, мутную, теплую и лишь изредка — светлую, вкусную, они набирают в колодцах.

Что такое колодец для идущих в пустыне... Это берег для потерпевших крушение в океане, это ломоть хлеба для измученных голодом. Первый пункт, где им повстречались люди, метеостанция Давали, лежащая как раз посередине маршрута. Отсюда они направились к колодцу Чайырли-Куйми. Колодцы в пустыне, как видите, подобно рекам имеют названия. Ведь они, как и реки, дают жизнь.

Наверное, мы недооцениваем роль пустыни в нашей жизни. Нам, жителям средней полосы, она кажется чем-то далеким и экзотическим, бесплодным и бесполезным — мертвым куском земли, отделенным от нас лесами, морями, горами, — и внешне это как будто бы так. Но и совсем не так. Пустыни Средней Азии раскинулись на огромной площади и занимают седьмую часть территории нашей страны. Их протяженность с севера на юг — около 1200 километров. Эти семеро прошли все те знойные километры.

Но пустыня вовсе не пуста! Многие и многие виды животных ее населяют, и, право же, нет для них более желанного места. Скромные внешне, но могучие растения пробиваются к свету через пески, добывая для себя воду с глубины в несколько десятков метров. И, конечно, бесценные клады, тающиеся в недрах пустыни. Не забудем и ту важнейшую роль, которую играют пустыни в формировании погоды. Вот мы, жители Европейской части страны, сетуем на несносную жару, на какой-то циклон, несущий нам сушь, а пришел-то он вот из этих мест, из этих песков...

И все же и здесь можно жить. На редких метеостанциях, разбросанных на всем протяжении Каракумов, куда и воду-то завозят раз в не-

сколько месяцев, между раскаленными песками и свирепым солнцем тоже живут немногие люди.

...Ночью, перед тем как сняться с последней стоянки, на освещенное дгорающим костром место высочил любопытный пустынный ежик. Он застыл в изумлении на своих высоких, тоненьких ножках и напряженно встопорщил огромные уши. Его большие глаза удивленно смотрели на нас, сверкая, как два черных топаза. Он безропотно дался нам в руки и только недовольно пофыркивал, когда мы, в свою очередь, проявляли свое любопытство, наклонялись поближе к нему и трогали его длинненький носик с блестящей пуговкой на конце. Кто-то из ребят собирался посадить гостя в рюкзак и прихватить домой, но потом, взвесив все, пожалел и отпустил на свободу: быть может, еще повстречаемся.

Последний раз они вскинули за плечи свои рюкзаки и, по ходу привычно выстраиваясь, скоро растворились в ночной темноте.

Этой ночью, накануне их последнего перехода через пески, я просил: «Вот теперь, когда вы, можно сказать, преодолели пустыню, скажите, что значат для вас Каракумы?» Почему-то этот вопрос оказался трудным для всех. Может быть, потому, что были у каждого из них мгновения и часы, когда они ненавидели ее, как можно ненавидеть величайшее зло, и были другие часы и дни — когда любили, как можно любить одно из величайших творений природы или как родную землю, где человек появился на свет.

И все-таки лучше Эмиля Баля, мне кажется, никто не ответил. Он улыбнулся чему-то и сказал: «Каракумы — это 720 000 моих шагов».

Они отмерили пустыню шагами, все 600 километров по горячим пескам, мимо золотых, раскаленных барханов, напоминающих застывшие волны, по твердым такырам — гладким, как хорошо укатанный слой асфальта, по бархатистой, невесомой пыли древних дорог, въедливой, проникающей в каждую пору. Конечно, пустыня для них прежде всего дорога. Дорога под пепеляющим пустынным солнцем, которое они меж собой прозвали «Убийцей», и под спасательно светящей луной, которую они никак не прозвали и которой радовались как великому чуду, когда она освещала их путь.

Они говорили о пустыне по-разному, но никто из них не смог скрыть гордости за то, что сумел осилить ее. Слушая их, я, кажется, понял Саади, великого поэта, мыслителя древности, в изумленном почтении склонившего голову перед бескрайним морем песков: «Все земли перед тобой убоги, о, пустыня!...»

Пустыня и человек. Два сильных характера. Каждая их встреча — схватка не на жизнь, а на смерть, борьба, тысячелетия идущая с переменным успехом. Прежде пустыня была злейшим врагом человека, теперь же, когда он научился лучше ее понимать, она приоткрыла двери в свои владения и стала понемногу отдавать сокрытые песками сокровища. Для немногих людей пустыня — дом, который они никогда не променяют ни на какой другой. И совсем для немногих она — соперник, с которым неодолимо тянет померяться силами. Вот как этих семерых, которые одолели ее.

Не ждите, читатель, необыкновенных приключений на их пути. Не ждите описаний схваток с коварными, смертельно опасными обитателями, хотя такие встречи и были. Они просто шли, день за днем, километр за километром. Но это были очень трудные километры!

Они вышли в дорогу в ночь на 15 июля, к утру должны были выйти на метеостанцию Шах-Сенем, но не вышли. Руководитель подвижной

научной группы А. И. Фрейнк, изнервничавшийся в ожидании, весь на пределе, прождал контрольный срок и уже в третьем часу дня готовый вызвать по радию поисковую группу, наконец-то увидел их. Они шли по пеклу, в самое жаркое время, вопреки тщательно разработанным, хорошо продуманным планам, измученные и совершенно мокрые от пота. Они заблудились. Ночью, на хорошем ходу, Баль, штурман экспедиции, не заметил места, где нужно было свернуть, они проскочили дальше и только при свете дня, не обнаружив древних развалин, служивших им ориентиром, поняли, что теперь предстоит пройти много лишних километров, чтобы явиться к месту назначенной встречи.

Я знаю, что Баль, человек очень ответственный, добросовестный, остро переживал свою неудачу, стоившую им около двадцати километров труднейшей дороги, которой могло и не быть. Владимир Климов, решительный, как всегда, и прямой, накинулся на него, упрекая в ошибке, вокруг разгорелись споры, и обстановка в самом начале пути, подогреваемая к тому же немилосердным светилом, накалилась настолько, что, кажется, все могли вспыхнуть. И никто в те минуты не хотел видеть, что творилось с самим Эмилем...

Эпизод, который в других, не экстремальных условиях мог бы пройти почти незамеченным — ну, заблудились — эка беда, ведь вышли же! — здесь стал очень важным событием в психологической жизни группы, и еще много дней спустя давал о себе знать. Он стал против их воли и совершенно неожиданно для всех тем незапланированным ключевым событием, которое проверяет людей на прочность. Позже некоторые из них мне признались, что этот самый первый их день стал и самым трудным. Когда останавливались и почти без сил валились на песок, они еще не могли отдыхать: еще силы и еще время отдавались науке. Николай Кондратенко, слушая нередкие сетования на то, что лучше бы без этих обследований совсем обойтись, терпеливо и неустанно убеждал, напоминал, зачем они это делают и кому это нужно.

Из дневника Николая Кондратенко: «Сухой ветер треплет тент и сосет из нас воду. На почве температура плюс 61. Состояние у всех плохое. Только один под солнцем становится неуправляем, вечером не хочет делать обследования, говорит, что вечером теряем время отдыха, что мы не кролики, что за нас все равно никто Каракумы не пройдет... Очень трудно его убеждать...»

Из дневника Виктора Голикова: «Идти становится все труднее. Запас воды и сил убывает очень быстро, по мере подъема солнца. О его восходе в пустыне можно писать поэмы... Сначала, когда вокруг еще темно, робко загорается заря, как бы подглядывает в дверь — можно ли войти. И, словно бы получив разрешение, постепенно разгорается, заполняя весь горизонт оранжево-красным светом. Мы останавливаемся и смотрим на солнце... А через два часа мы не могли о нем думать без содрогания».

Однако и в пустыне случаются радости. Утомленным, измученным жаждой и отчаянием путникам она дарит такие незабываемые краски, о которых рассказывал Виктор. Слабое, конечно, вознаграждение... И ни с чем не сравнимая радость, возможно, даже и счастье от встречи с водой. Особенно, если эта вода прозрачна, вкусна, холодна.

Однажды вышли на колодец с такой водой. Анализ же показал, что ее пить нельзя: большое содержание солей серной кислоты. Даже и кипячение не помогло от них избавиться. А ведь какой, казалось, подарок... Несколько человек в научной группе не удержались от соблазна и, вопреки запрещению, пили ее. У всех была сильная рвота.

Но, случается, и солоноватая, мутная водица приносит подлинное избавление и с каждым глотком наполняет человека новыми силами. Нет ничего в пустыне ценнее воды. Зейнел Сакибжанов перед последним своим переходом, когда все небо уже выстлало яркие звезды, произнес тихо, задумчиво: «Знаете, мои мысли часто возвращаются к тому, что к воде необходимо относиться бережно... Она не должна просто так пропадать, ведь она может стоять человеческой жизни...» Чтобы это понять, надо было прочувствовать. Чтобы прийти к такой мысли, человек пересек всю пустыню. Пользуйтесь этой мыслью: Зейнел вам безвозмездно дарит ее.

Был один день, когда пустыня щедро отдала их за все лишения. Неожиданно открылось большое соленое озеро. С наслаждением погрузились они в прохладную воду... Давно не мытое, зудящее тело, разведенная потом кожа — как приятно почувствовать себя снова чистым и свежим...

И снова путь, дорога без дороги и поднимающая настроение радость, когда под ногами вновь оказывается нужная, желанная колея. Бесчисленное количество дорог пересекает пустыню. След после проехавшей машины может оставаться очень и очень долго. Скольких путников ввели они в заблуждение... Вот почему достойна удивления та уверенность, с которой штурманы экспедиции, Эмиль Баль и Владимир Климов, без карты, а только по им самими составленной схеме провели товарищей через пески.

Из дневника Виктора Голикова: «Прошли барханные пески. Спуск, подъем, снова спуск и снова подъем. Ноги вязнут в песке. Скорость передвижения резко снизилась. Прошли два колодца с водой с запахом сероводорода. Пот заливает глаза, мы пытаемся спрятаться от палящего солнца в крохотных тенях от рюкзаков. Хочется уменьшиться в своих размерах...»

И снова — обследования, одно за другим, на ходу и на десятиминутном привале, на дневном отдыхе, когда нестерпимо хочется спать и когда неудержимо тянет пить, а спать нет сейчас времени — сначала наука, а пить тоже нельзя, хотя и есть рядом вода, — нужно сначала проделать все необходимые медицине анализы... И снова Николай Кондратенко первым показывает пример, встает, когда нет сил встать. За ним — Гельмут Гегеле, потом все остальные.

Из дневника Николая Кондратенко: «Дорога очень трудна. От рубахи идет сильный, неприятный запах. Подушка с водой в рюкзаке неполная, и вода надоедливо плещется на каждом шагу. Это раздражает, как часы на мокрой от пота руке. Сплю на ходу. Ощущения хуже, чем в переполненном трамвае».

Ветры им доставили много неприятных, монотонно раздражающих дней и часов. Долгое время в спину дул слабый, горячий ветер, как раз равный скорости их ходьбы. От этого казалось, что они шли в неподвижном, тяжелом и вязком воздухе и лишь когда ветер менял направление, дул хотя бы чуть-чуть под углом, они могли вздохнуть с облегчением.

Они прошли эту пустыню, но, уже расставшись с ней, все-таки не чувствовали в полной мере себя победителями. Возможно, потому что в мыслях продолжали идти, переживали убийственный жар, лежали под тентом на горячем песке и покорно терпели прикосновение добрых, щадящих, но так надоевших рук медиков... Они еще жили в пустыне.

Как только они закончили путь и с облегчением, в последний раз опустили опостылевшие рюкзаки на землю, их окружили кино- и фоторепортеры, журналисты, пролетевшие тысячи километров ради вот этой встречи. Семеро улыбались, немного рассеянно отвечали, потому что уже успели отвыкнуть от людей, от такого темпа, который теперь их закрутил. Перед их глазами все еще были пески...

Каждого из них я спросил, о чем он мечтал на этой горячей дороге и что было труднее всего.

Владимир Климов: «Труднее всего для меня было переключение на ночной ритм жизни. Нормально себя чувствовать я начал где-то на десятый день, а до этого — идешь, качаешься — так клонит в сон... Скрипишь зубами, а идешь. О чем мечтал? О холодном кефире». У Владимира две дочки — Лена и Танечка, на привалах он часто доставал их фотографию и подолгу смотрел на нее.

Гельмут Гегеле: «Самым трудным для меня был первый день, когда мы заблудились. Тогда, в который уж раз, я подумал: как мало нам в жизни надо — всего ковшик воды...» У Гельмута сыновья — Альберт и Саша. Немногословный, молчаливый Гельмут сдержанно улыбается: «Конечно, ужасно соскучился...» В подарок своим мальчишкам он везет заспиртованных скорпионов и фалангу, а также символ жизни в пустыне — маленькую веточку саксаула.

Виктор Голиков: «Труднее всего мне дался переход до метеостанции Екедже, когда за две ночи надо было пройти более шестидесяти километров. К тому же до этого перехода мы очень мало отдыхали. Не могу сказать, что я о чем-то особенно мечтал. Просто часто думал о наших новых маршрутах». В этой семерке Виктор — лучший бегун, в плане подготовки к новым походам поставил перед собой цель пробежать сто километров.

Эмиль Бал: «Самым тяжелым был первый день, когда из-за моей ошибки пришлось сделать большой крюк. Я понимал, как подвел товарищей, но, поверьте, мне тогда было хуже всех... О чем мечтал? Я старался гнать от себя всякие соблазны. Но иногда почему-то возникало в мыслях мороженое...» Эмиль человек упорный, настойчивый в лучшем смысле слова, умеет собраться и подчинить себя достижению одной, главной цели. Посмотрел мне в глаза и добавил: «Я вернусь в пустыню. Еще и еще».

Зейнелгабиден Сакибжанов: «Самый трудный был переход до Екедже. Я тогда чувствовал себя плохо и потерял в весе почти четыре килограмма. Хотелось быстрее пройти пустыню». Зейнел оказался человеком веселым, неунывающим, и в трудную минуту, когда назревал конфликт, ему удавалось смягчить обстановку.

Николай Устименко: «Самыми трудными для меня были первые 50 километров. Хотя мы и готовились, эти километры дались труднее всего... Мне очень хотелось быстрее пройти каждый отрезок маршрута и чтобы скорее остались сзади пески». Николай старается держаться незаметно, скромно, но при этом готов, если надо, рискнуть. В экспедиции был очень полезен.

Николай Кондратенко: «Самым трудным для меня был момент, когда я почувствовал со стороны товарищей некоторое напряженное отношение. Мне удалось преодолеть этот неприятный момент. О чем мечтал? Мне кажется, больше всего в эти дни я хотел услышать голос сына...» Его сыну Вите восемь лет, и Николай ждал встречи с ним, чтобы обнять и рассказать о своем походе через пустыню.

Несколько дней после перехода продолжались медицинские обследования. Питались только той пищей, что и в дороге. Для специалистов важно было проследить изменения в организме при одном и том же режиме питания. Они с трудом удерживались от желания кинуться по домам и скорее увидеть близких. Но больше всего их угнетало то, что время их отпусков подошло к опасному пределу. Очень уж не хотелось неприятностей на работе после такой приятной прогулки в песках.

Ташауз, Каракумы.

1984 г.

## ОДИНОЧЕСТВО

По первому ноябрьскому снегу тайга осветилась вся, попрозрачнела, хотя древесные стволы, наоборот, — почернели и казались нанесенными тушью на белом листе бумаги. Высокие, давно уж пожухлые травы сгорбались под тяжестью снега, и лес как бы приоткрылся, сделался выше. Зима наступила внезапно, решительно, не оставляя места надежде на запоздало теплые дни. Какое уж тут может оказаться тепло, если землю сковало морозцем, а вода в протекавшем в распадке ручье до боли леденила пальцы, когда Овчинников черпнул ладонью, чтобы напиться. Он ушел далеко от дома — землянки, вырытой как раз по плечи и сверху тщательно накрытой ольховником, и засветло вернуться уже не успел. Да и не хотел. Он испытывал странное, хотя и давно уж привычное состояние, нетерпение, гнавшее его без какой-либо цели все дальше и дальше по сопкам. Только в движении, в подъемах и спусках — вместе с тяжелой усталостью находил он спасение от изнуряющих мыслей, воспоминаний, загнавших его вот в эту лесную глухомань, прочь от людей.

Он знал: стемнеет быстро, почти мгновенно и потому часто останавливался, выглядывая подходящее место ночевки. Он уже приучил себя ложиться спать там, где застает темнота — хоть летом, хоть зимой, — изобрел собственный способ обустройства ночлега, но все же и в таких условиях старался поуютнее обосноваться.

Он выбрал старый выворотень — корявую березу, настолько изогнутую, что казалось, будто она в узел завязана. Дерево лежало на земле, а его переплетенные корни засушенным спрутом тянулись кверху и вместе с застрявшей меж ними землей обещали хорошую защиту от ветра. Овчинников скинул из-за спины тощую котомку, достал топор и, опустившись на одно колено, принялся рубить мерзлую землю. Ружье положил рядом — чтобы рукой дотянуться — мало ли... Вдруг голодный шатун набредет... Три года уже как он живет в одиночку в тайге и, слава богу, стрелять еще не пришлось. Как взял, уходя в лес, шесть патронов, так все и носит с собой.

На один из этих патронов надежда особая, правда, с тайной мыслью, что он, может быть, не понадобится. Часто ему вспоминался знакомый охотник, надолго уехавший в тайгу, нога у него почти отнялась, ходил, ее подволакивая, а все же не мог от тайги отказаться. Однажды он не вернулся — время такое как раз, поздняя осень или ранняя зима, трудно сказать, его искали несколько дней и нашли — уже неживым. Окоченевшим, конечно. Но, видно, жил он долго и мучился, сился до лежавшего неподалеку ружья дотянуться, чтобы оборвать эти мучения.

Пальцами, ногтями выскребал землю, сухую траву и всего нескольких сантиметров не мог одолеть... Овчинников не хотел и боялся такой же смерти.

Сначала земля под топором поддавалась жестко и вязко, но потом, после первых десяти сантиметров, дело бойчее пошло, а всего надо было заглубиться на полметра, не более. И в длину примерно на метр — семьдесят — чтобы по росту, а в голове и ногах понемножку свободного места осталось. С этим делом он справился быстро, потом надрал со старых деревьев корья, вырубил несколько березовых жердей, уложил рядом в откопанный желоб, выложил сверху ровным слоем кору и с боков обложил. В общем, могила — не могила, лежак — не лежак, а так, временное поместилище, спасение на ночь.

Он поджег сухое корье, дождался, пока оно выгорит, смел золу, достал из котомки пропахшее землей и дымом костра одеяло, кусок пленки и, завернувшись в одеяло и накрывшись сверху пленкой от снега, чтобы когда подтает, сохранить сухим одеяло, улегся на горячие жерди. Из опыта знал: дерево до утра будет его согревать. Потом смежил веки, прислушался к высоким шорохам ветра в оголенных ветвях, и был таков. Еще один день развеялся. Спал он крепко и снов не видел.

Утро, однако, его пробудило продрогшим. Выпростал руку из-под одеяла, просунул под себя, пощупал жерди. Они чуть заметно теплели, только непонятно, каким теплом — то ли своим, от вчерашнего кострища, то ли оттого, что это он их телом пригрел. Вылезать на мороз не хотелось, да ведь и бока вылеживать в таких хоромах тоже не сладко. Выбрался, аккуратно сложил одеяло и пленку, сунул в котомку, промялся немного, развел в лежке костер, спустился к подножию сопочки — знал, ручей там, разбил закопченным чайником тоненькое стеклышко льда, намерзшего по краям, зачерпнул прозрачной, чистой, как утренний воздух, воды и пободрее, чтобы согреться, поднялся к костру. Тот разгорелся и полоскал хорошим огнем.

В ожидании, пока вода закипит, Овчинников присел рядом с костром, извлек из кармана штанов кусок старой газеты, заботливо сбереженный с прошлых времен, неторопливо и аккуратно оторвал кусочек на самокрутку, сложил в трех пальцах левой руки, а правой присыпал сушеной травой, набранной летом, названия которой и сам-то не знал, зато знал, что курить ее можно, и задымил. Сигаретку бы, конечно, да где ее взять...

Чаек он попивал с наслаждением. Да, впрочем, что там — какой чаек, одно только название. Настоящего чая давно уж не пил, но этот, из трав, набранных в разное летнее время, из сухого брусничного листа, смородинового, еще кое-каких, иногда и бруснички сушеной приправит, княженики, видом и главное вкусом на чернику очень похожей, хотя и растущей на высоких кустах, мяты — и такой дух славный поднимается, такой аромат, что никакого чая не надо. Если только индийского. И тепло летнее вспомнится, и запахи, на солнце настоянные. Благодарь — не напиток. Конечно, вяленая рыба сочетается с ним не самым лучшим образом, но ничего, попривыкнув, можно и так позавтракать... В юрте-то, как он, по примеру ительменов, первопоселенцев Камчатки, называл свою землянку, имелось у него картошки немного — с крохотного огородика, отвоеванного у тайги. Но роскошествовать с ней себе не позволял: зима долгая, да и на семена надо оставить. Были у него по первому времени еще и крупы какие-то — как шел в лес, всего, что можно было, понемножку с собой прихватил, но на три года разве растянешь...



Он бережно, как к собственному дому, относился к тайге, и она, выплачивая добром за добро, кормила его.

Овчинников стряхнул с колен рыбью чешую, кожу и кости в костер, мельком глянул на небо, слабо светившееся в оголенных кронах деревьев, определил по привычке время — начало девятого и стал собираться. Часов у него не было, да и не нужны они здесь-то, в лесу, но время он всегда определял точно, без механизма. Иногда даже сам удивлялся, с какой точностью, будто он сам механизм, заведенный раз — хоть и не навсегда, конечно, но на неопределенно долгое время. Какое ему жизнью отпущено.

Покидая место ночлега, Овчинников внимательно его оглядел. Мусора после себя никогда не оставлял: бумаги и консервов у него не было, всяческих изделий из синтетики, которые и огонь не берет, тоже, а вот эти остатки еды в костре бесследно исчезнут.

Сам костер, тщательно вытоптанный, лес не запачкает, не навредит, наоборот, подпитает почву и даст начало новой жизни весной. Пуще прежнего трава на месте кострища станет. Из праха, значит, из пепла жизнь нарождается.

Не оборачиваясь, он ушел от старого выворотня. Сколько их было за эти три года. И сколько будет еще... И дни тоже похожи один на другой — от серого утра до раннего сумрака. Это летом они разнообразятся и всегда чем-то отличны, а зимой, если бы не постоянные заботы, работа, тоска бы замаяла. Он часто вспоминал свою прежнюю жизнь и с удивлением замечал, что и в ней множество дней поразительно один на другой походили. Если, конечно, не брать в расчет отдельные дни, остающиеся незаживающими рубцами на сердце. А не брать их в расчет нельзя: из них, а не из обыденной сутолоки судьба складывается.

Раны эти нестерпимо болели, и с течением времени боль не ослабевала, а уходила вглубь, словно бы прячась от света, становилась привычным состоянием, как учащенное дыхание от быстрых подъемов по сопкам. И Овчинников теперь уже знал наперед: ему никогда не избавиться от этих саднящих воспоминаний. Ему стало легче, когда он ушел от людей — нет тех взглядов, которые чувствовались даже спиной, безмолвных вопросов, нет постоянного ожидания, что может что-то случиться. А куда же еще... И так на многих хватило бы...

Тот январь рассыпался обильным снегом, ложившимся прямо в защищенных от ветра распадках, ударил морозом, доставшим Овчинникова даже в его глубокой земляной конуре. Дров он припас в свое время достаточно — лес, если не поленишься, замерзнуть не даст, и теперь только оставалось подрубить поленьев из распиленных чурбаков. Но Овчинников эту работу любил: она быстро грела, бодрила. Устанешь, воткнешь в чурбак коротким ударом топор, выпрямишься, глянешь вокруг, и вроде бы иначе все представляется — не мрачно и не безнадежно. Можно сказать, что почти хорошо жить становится в такие минуты.

Но один из тех морозных дней навсегда ему врезался в память. Выла злая верховая пурга, срывая сухие, отмершие сучья старых берез и тщетно стремясь оторвать крепкие ветви, трепля их и выгибая, что казалось: еще один налет, неудержимый порыв — и хищный ветер расправится с деревом. Однако внизу было много спокойней, и Овчинников, встав на лыжи и прихватив ружьецо, намерился пройти по капканам. Давно не осматривал их, все почему-то откладывал, а тут словно бы что-то толкнуло его: надо пойти посмотреть.

Он уже далеко отошел — часа два дороге отдал, и напрасно: все капканы пустые стояли, и следов возле никаких не видеть. Чтобы обойти

дальние точки, надо было, спустившись в низину, обойти высокую сопку, еще раз подняться и снова спуститься. Места те у него считались везучими.

Он быстро спустился в низину, прошел по ней, оставляя глубокий след, и вдруг мягко, как-то упруго вместе с лыжами провалился по самую шею. Он сразу же инстинктивно выкинул в стороны руки, отчаянно попытался выволить ноги, но трясина держала крепко, и Овчинников в ужасе чувствовал, как медленно, но неотвратно тянет его в глущину. Как же мог он забыть про это болото...

Иногда, уцепившись за куст высокой прошлогодней травы, ему удалось перевести дыхание, усилием воли успокоить себя. Никто, ни один человек на свете не знает, где он в эти минуты, и кричать в такой глуши бесполезно — только пурга воем ответит ему. Значит, что же — конец? Вот такая бессмысленная, нелепая смерть? После всех мучительных лишений, которые довелось пережить? Ему показалось, что он уж смирился, но какая-то огромная сила, выплеснувшаяся из самых глубинных недр надежды на жизнь, высвободила его из болота. Подцепив негнувшимся от холода пальцами лежавшее рядом ружье, он ползком двинулся по своим старым следам. Лыжи остались в трясине, и теперь, когда он мог уже встать и пойти, на каждом шагу погружался по грудь в рассыпчатый снег.

Тогда он придумал комом катиться по склону сопки. Так получалось быстрее. Ружье висело на сгибе локтя, и Овчинников пуще всего боялся его потерять. Он решил: как почувствует — все, больше не может двигаться, только ружье избавит его от мучений.

Почти в беспамятстве и совершенно без сил добрался до своей спасительной юрты, но еще долгое время бился, стараясь разжечь огонь...

Уже отогревшись и ощущая приятный жар от чая, питавший теплом безмерно уставшее тело, Овчинников бесконечно задавал себе один и тот же вопрос: как же спастись удалось? Какая сила и ради чего помогла ему?

Он потерял счет времени и не знал, сколько проспал.

Та лихолетняя зима и вся-то осталась в памяти сном — тяжелым, холодным, с тем полулихорадочным состоянием, когда и в самом деле не знаешь потом, что это было — явь или сон. Но весна близилась, несмотря ни на что, и Овчинников ждал ее как новую, освежающую пору в своей жизни. И время катилось к ней хоть и неторопливо, но зато и безостановочно. Приключений больше никаких не случалось, и слава богу, однако испытание еще одно судьба ему уготовила.

В капкан попался ранний, не выждавший окончательного отхода зимы медведь. Огромный, хотя и тощий, он метался, намертво схваченный капканом, посаженным на петлю из нескольких проволок. Рев стоял такой, что бежать подальше хотелось. Но оставлять зверя в таком положении было нельзя, и Овчинников, подойдя возможно ближе, чтобы медведь во внезапном рывке его не достал, выстрелил из своей гладкостволки раз и другой. А больше патронов не было. Медведь же оставался живой, скреб в ярости лапами, и глаза его горели пожизненной, злобной ненавистью.

И вот тут Овчинников увидел такое, отчего разом похолодел: в многожильной петле переломились все проволочные струны, кроме одной. Рванись зверь к нему, и эта не выдержит... И уходить тоже было опасно: тяжело раненный зверь мог пуститься вдогонку — и тонкая проволока лопнула бы, словно веревка. Овчинников дубиной его добивал.

Весна пришла еще поздней, чем обычно, с холодом, голодом. Запасы иссякли, пополнить их не удавалось никак, даже и рыба куда-то вся подевалась, и Овчинников вопреки обыкновению вышел на озеро, где ненадолго осела лебединая стая. Не хотел он бить лебедя, да ведь и есть что-то надо...

С первого же выстрела подстрелил одного. Птица положила крылья на воду, и голову то поднимет, а то опустит — лететь не может. Другие собрались возле и тоже не улетают, не хотят его одного оставлять. Для Овчинникова этот выстрел стал уроком на всю жизнь — никогда больше лебедей не стрелял. Даже и когда есть было нечего.

Да, три первых года своей лесной жизни он людей не видал. Что делалось в мире — не знал. Газет ему не приносили, телевизора не было. Постепенно, незаметно появилась привычка с собой разговаривать. Наверное, человек иначе не может. Любил разговаривать с птицами, доверчиво садившимися на вытянутую руку, на голову, с белками, подбегавшими к сапогам и ловко хватавшими нехитрое его угощение. На озере, склонившись к воде, с рук рыбу кормил, иногда подплывала осторожная выдра, быстро выхватывала рыбешку, которую Овчинников подавал ей, держа за хвост, исчезала, вскоре появлялась опять. Выбегали на поляну возле земляники и беспечные зайцы, совершенно его не боявшиеся и приучившиеся брать пищу из рук. Овчинников считал их братьями, соседями по этому лесу и никогда не обижал.

Три года он людей не видал. Три первых года из долгой жизни в тайге длиной в четверть века.

Тяжко тебе пришлось, Петр Денисыч, коли ты решился уйти от людей и пойти на такую полную лишений и борьбы за себя жизнь...

Да, первые три года своей лесной жизни он людей не видал. Потихоньку отходил, отогревался в себе. Даже и в бессонные выюжные ночи, когда ветер со свистом врывается в узкую щель под дверью землянки, все равно отходил. Время всякие раны врачует.

Жил он прежде, как все, работал в колхозе рядовым колхозником, как он сам говорит, потом бухгалтером — был честен, и отчеты у него всегда копейка в копейку сходились. Но прям, хитрить не любил, и этой своей прямоотой, неумением промолчать ради собственной пользы неутомимо наживал себе тайных доброжелателей. Характер свой явно от отца унаследовал.

Ничто не предвещало в жизни Петра Денисовича большого излома, но вне зависимости от его планов, желаний все складывалось одно к одному, и груз копился, тяжелел, становился несносным. Несправедливое к себе отношение на работе Овчинников переживал, конечно, но одновременно и притерпелся к нему, а несправедливость, которая рядом творилась, воспринималась им остро, болезненно. В начале пятидесятых годов многих товарищей потерял, один остался и ждал все, что и за ним тоже придут.

Отец ушел из жизни трагически, при драматических обстоятельствах. Он воспитал восьмерых приемышей, растил их, как мог, Петра своего не выделял, а под старость, когда начал слепнуть необратимо, чужие дети разбежались, оставив ненужного им старика раздетым. Не стал я спрашивать, что именно имел в виду Петр Денисович, когда говорил: «раздетым оставили», но ведь и предположить почти безошибочно можно... Сам он отца успокаивал и без помощи его оставить даже и в мыслях не мог, но тот так и не пережил потрясения — сам, добровольно из жизни ушел. В майский праздничный день, когда из репродукторов марши гремели.

Что же тогда творилось в душе Овчинникова... Вино и себя он, хотя не за что было, и дошел до такого состояния, которое требовало не только участия и утешения, но даже и помощи. А помочь-то некому было. Дома все не ладилось, под уклон тоже катилось. Жену Овчинников любил, но согласия, несмотря на троих детей, меж ними не складывалось. И это видели все вокруг, не только оба они. Отец говорил в свое время: «Раз уж женился — терпи...» Вот он и терпел, а ведь переживал до седины в голове...

Гром ударил и несносной болью сердце взорвал, когда погибла трехлетняя дочка. Живая сгорела, почти на глазах у него, на какую-то минуту он опоздал. А потерял — навсегда. Месяц врачи за жизнь Лариски боролись, но спасти не смогли. Вот тут Овчинников и понял, что оставаться в доме не сможет. И жить среди людей тоже не сможет. Слишком много горя в нем одном собралось. Прилюдно терпеть его он оказался не в силах.

Однако не вдруг, не очертя голову кинулся в спасительный лес. Собираясь молчаливо, но быстро, решительно, от жены не таил. Пообещал, что детей не оставит без помощи. Придумал, как помогать: лес щедр и богат, того, кто в него приходит с добром, накормит, оденет и в беде не оставит. А уж какие беды могут быть горше тех, что на его плечи обрушились...

Сначала выбрал место — глухое, в стороне от дороги, с родничком и озером, довольно обширным, как раз у подножия низенькой сопочки, где он решил землянку себе откопать. Когда-нибудь позже, так чтобы время не подгоняло, метил и избушку поставить, но теперь было главным скорее уйти и в лес закопаться. И еще даже глубже — в землю в лесу.

Осень надвигалась легкими, быстрыми шагами и подгоняла Овчинникова. За несколько ходок перетащил он пилы, топоры и лопаты, немного гвоздей, немного проволоки. Потом продовольствие на самое первое время — круп, какие в сельпо на полках стояли — «чтоб разваристо было», ну, конечно, соли и сахару, да и про курево тоже не позабыл. Из одежды — только на нем что было, разве сапоги резиновые еще прихватил. И все — исчез. Нет больше Петра Овчинникова.

Постепенно о нем забыли. Не все, разумеется. Жизнь не стояла — люди приезжали в поселок и уезжали, у всех свои заботы, свои проблемы и беды, если выпадают, тоже свои. О нем изредка вспоминали — те, кто знал, спрашивали друг у друга — может, кто-нибудь где встречал, но нет, ни следа не осталось. И дома тоже о нем не слышали. Зимние метели заматали его следы, еще в памяти остававшиеся, летние дожди замывали и то, что еще сохранилось...

А он жил, постепенно обретая опору. Первое время ощущал себя в тайге странно, как бы со стороны — будто не он это прозябает в морозы, не он изнемогает от гнуса и комаров. Но часто останавливался где-то на сопке, откуда вид на даль раскрывался, садился на землю и замирал, потрясенный увиденным. Долго, словно в забытии ненасытно смотрел и слушал тайгу. И думал: «Куда я попал? Да ведь это же рай!» Все чувства его в лесу обострились, и он упоенно воспринимал все, что ранее не замечал. Утром нарочно пораньше вылезал из земли, чтобы не упустить момента, когда солнце встает. Сощурившись, смотрел с наслаждением, как оно поднималось и било прямыми лучами в мохнатую сопку, и она начинала светиться, словно бы вспыхивала...

Постепенно притерпелся он к боли, приучался жить вместе с ней,

как с застарелой раной — зарубцевававшейся, но постоянно дающей знать о себе.

Каждый день, каждый час лесной жизни его чему-то учил. Странно, но он, деревенский житель, не знал совершенно грибов — собирал, варил и сушил всякие, что попадались. Чудо, но ни разу не отравился, хотя и брал все попадавшиеся. Травы тоже не различал, но каким-то смутным, но верным чутьем отыскивал целебные стебли — по опыту узнавал, какие помогают от желудочной боли, какие — от боли суставной, научился даже экзему лечить. Когда приходило комариное время и они одолевали так, что впору в воду от них залезать, Овчинников принимался для защиты искать сок растений. Столько всего перепробовал, пока не нашел широкие листья борщевника, чьи высокие заросли непроходимым кордоном скрывали его жилище.

Позже, чтобы открыть дорогу ветрам, он вырубил деревья и кустарник, закрывавшие землянку от озера, и сразу сделалось легче дышать, выметать стало комариную нечисть. Да и взгляду веселее при виде ровного зеленого луга, усеянного темно-синими ирисами, розовыми цветами шиповника, низкорослыми кустиками княжевика, среди которой попадались в изобилии глянцевого, в точности как у ландыша, листья черемши. А в стороне, уже за озером, встречалась жимолость, усыпанная множеством ягод синего цвета, видом и вкусом похожих на чернику. Все эти ягоды он собирал, сушил, но главную его пищу первые годы составляла все-таки рыба. Зимой и летом. Это потом, когда время от времени стал выбираться из леса, появился у него маленький огородик, на котором зрела картошка, и то недолго кормил он Овчинникова.

О нем заговорили, когда он неожиданно попался охотнику, свернувшему в лес от строящейся мимо сопки дороги. Потом он повстречался зимой другому охотнику. Тот шел по следу, уже догадываясь, кто его оставлял. Видно было — брел старый человек — медленно, делая шаги небольшие. Особенно трудно ему давались подъемы: часто садился на снег и отдыхал, видимо, долго. Силы уходили из него, и он сам понимал это и ощущал.

...Я появился в его владениях в конце июля и застал его в ветхой, прокопченной насквозь избушке, построенной из случайных, натасканных из брошенной деревни досок и обшитой надранными там же кусками толи. Мутное, словно бы бельмом прикрытое оконце матовым глазом глядело на свет. Пройдя через низкую дверь кладовки, я отворил внутрь вторую и оказался в крошечном помещении с низким потолком и земляным полом. У стены — грубо сколоченный стол, лавка, прикрытая старым одеялом, на нем сидел хозяин и, подбоченясь, как боярин, принимающий гостя, хитровато глядел. Я тогда не знал еще, что он не видит почти, и сам разглядывал его с интересом, и утварь, и странный длинный-предлинный цветок, выросший из пола возле окна, — бледный от вечного сумрака здесь, безлистный от слабости. О моем появлении хозяин был уже предупрежден.

Прожитые годы в непрекращающейся борьбе за жизнь изнурили Овчинникова. Он зарос, поседел в сравнении со старой фотографией, которую мне в поселке удалось раздобыть, морщины углубились будто бы топором высеченные, а с лица, закопченного солнцем до черноты, смотрели маленькие, но отдающие удивительной синью глаза, светившиеся даже сквозь мрак. И не поверишь, что он стал почти слеп и может передвигаться только медленно, нащупывая палкой дорогу. Долго же я добирался к нему...

Равнодушно посматривая, как мы с товарищем выкладывали на стол нехитрые подношения — хлеб, чай, сахар, печенье, конфеты, консервы кое-какие, дед Петро, как его теперь все называют, не утерпел и заинтересовался: «А курева принесли?» Вот тут мы и промахнулись: курева прихватить не догадались. А дед Петро осерчал сразу — дескать, зачем пришли, коли курева не захватили? Впрочем, хозяином он выказал себя радушным и хлебосольным: осведомился, не докучает ли городским людям плотным облаком неподвижно висящий дым в избушке: в старом, с вековой копотью ведерке курилась головешка, вытравливая комаров, а заодно хозяина и всех, кто к нему в гости пожаловал. Потом велел приподнять досочку и вытащить из ямы в полу трехлитровую банку соленых грибов. «В прошлом году солил... А может, и в позапрошлом...» Грибы были когда-то хорошие, но теперь вся банка насквозь продернулась плесенью. Пришлось нам незаметно от Петра Денисыча грибы природе вернуть. Ну, а еще чуть попозже разговор за чайком завязался...

Незадолго до нашего появления здесь Овчинникова ограбил медведь. Разворотил стену кладовки, пожрал что попало, благо хозяина дома не было, и удалился с достоинством. У деда просто зла на него не хватало. А к вечеру — вот же наглость, — днем ведь почти, грабитель опять появился. Отошел и метров с пяти смотрит на деда. Молчит. Ну, а Петр Денисыч молчать не стал, и за ружье браться не стал, высказал все, что думал по этому поводу, и закончил уже почти прощающей фразой: «Ну что ж ты, мерзавец, наделал?» И мишка стоял и слушал, не шелохнувшись, как будто ему лекцию по экологии читали.

Кстати, высказался дед Петро и по поводу экологии. Много размышлял он о единстве человека с природой и пришел ко всяким серьезным выводам, поделился соображениями и по поводу злободневных для всех нас вопросов: не стал бы он строить комбинат на Байкале, несмотря на радужные прогнозы серьезных ученых, не стал бы и сток северных рек перебрасывать к югу, и заключил, подмигнув: «Мы ей (то есть природе) покажем, как с нами, дураками, связываться!»

Не стал я, конечно, расспрашивать его о больном, о горе, но он, безотчетно глядя в оконце — словно бы в мутное прошлое, затянутое дымкой времени, и сам рассказал.

Что-то забылось. Все ж таки четверть века прошло. Но на несправедливость, творившуюся повсеместно в пределах его видимости и по отношению к нему самому, теперь смотрит иными глазами. Он слеп почти, но прошлое сейчас видится яснее, чем прежде. Он стал терпимее, сдержанней. «Не надо никого хулить, — говорил он негромко, — лучше на самих себя чаще смотреть — как ты другим-то кажешься? Да и хвалить не надо тоже особенно — ошибешься скорее всего...»

Несчастную свою любовь он изжил. Заставил себя, а трудная жизнь, спокойные размышления вдалеке помогли ее вытравить. А страшная же гибель отца и дочери — где ж тут забудешь...

Ну, и с чем ты остался, Петр Денисович, спрашиваю его про себя, не с тем ли, с чем в лес уходил? Стоило ли отлучать себя от людей ради этой мучительной жизни, ради безмерного одиночества, ради возможности погибнуть в любую минуту? Дом был — теперь дома нет, только вот эта хибара... Семья была, а теперь нет и семьи... Хотя семьи-то у него и раньше не было. Дети — да, были, но с ними дело особое.

И он, угадав мои мысли, сказал: «Я ни о чем не жалею. Я считаю, что каждый человек должен хотя бы немного вот так пожить, чтобы свою жизнь хорошенько обдумать. Я бы того и сыну, и внуку своему по-

желал. Но уж, конечно, не двадцать пять лет...» Сына он любит, как выразился, «по гроб жизни своей». Он живет далековато — в Петропавловске и последнее время раз в год навещает отца. Звал его уехать с собой, но дед Петро крепко прирос к месту, где четверть века прожил и не просто прожил, а где закапывал, хоронил свое горе. Да и быть сыну обузой тоже не хочет. А про дочь заговорив, он меня просто убил.

Он не знает, где дочь Людмила. Уже лет пятнадцать не знает. Не то во Владимире, не то где-то еще. Она о себе не напоминает. Вышла замуж, уехала — вот и все. Овчинников считает это в порядке вещей: дети выходят замуж, женятся и оставляют родителей... У него тут очень просто все получается.

«Но, может, обида у дочери... — думалось мне, — ...может, не сумела она отца понять, почему он ушел в лес от них, бросил без помощи... И тут же себя осаживал: это не так. Овчинников крепко, даже очень крепко материально семье помогал. Только самые первые годы сиднем сидел, из тайги не высывался, а потом по договору с колхозом охотился, добывал лис, соболей и сдавал. Деньги получались хорошие, и все жене отдавал. Выберется из леса, скинет пушнину на пункт, заглянет к детям — и снова в берлогу. И вновь месяцами от него ни слуху ни духу. Не мог он теперь и дня в поселке прожить. Давят на него дома высокие, двухэтажные, улицы прямые, смрад от машин, которых здесь все-таки менее будет, чем, скажем, в Чикаго. Но все равно недоброжелательно Овчинников к машинам относится.

Короче говоря, Людмила осталась для меня непонятной.

А ведь плох Петр Денисыч сейчас. Скверно видит одним глазом, а левый совсем отказал. Сердце все чаще сдает, ноги еле ходят, и он, просыпаясь среди ночи, со страхом чувствует, как они отнимаются... Поэтому и носит ружьишко с собой, если от дома уходит. Один патрон в нем. Больше не надо. «Иду со своим одним глазом, а сердце болит — дойду не дойду... Разве знаешь, где и что с тобой может случиться...»

Жизнь его усложнилась, наполнилась беспокойством теперь. Недалеко от хибары (он ее по-прежнему «юртой» зовет) протянули дорогу. Люди стали появляться чаще, проведая же о нем, о необыкновенном его житье-бытье, и вовсе устремились сюда. А люди-то — разные... Вернется Петр Денисыч, хватится кружек — а нет их. Уперли. Вилки простые оловянные — так и на это позарились! Был из оленьей шкуры кукуль — спальный мешок, вещь в его нынешней старости необходимая, — и кукуль унесли. Вот мы вместе выходили из дома, и он все с тулупом маялся — не знал, куда лучше припрятать. «Все равно ведь, черти, найдут... Облазят все — и найдут...» Пришлось нам тулуп с собою таскать. Как раз по летнему времени.

В общем, эта дорога взбудоражила жизнь Овчинникова.

А уходить отсюда он не хочет. «Были бы ноги, — говорит, — забрался бы глубже — так бы и пошел, и пошел... А теперь затухает мой организм, силы вышли все, ничего не осталось».

У него от сына есть внуки-двойняшки — Вета и Юлик. Выбрался как-то из леса, а им уж пять лет. Подошел к внуку, присел, чтобы сравняться с ним в разговоре, а тот спрашивает: «Дедушка, а как твоя фамилия?» — «Овчинников». — «Ой, и моя тоже — Овчинников! Дедушка, да ведь я же — твой внучек!» — догадался мальчишка. Разглядывает он закопченного деда и не понимает, почему тот смеется, а по щекам слезы текут.

Эти слезы тоже расплата за одиночную жизнь, пусть и не самая большая, зато тоже щемящая...

Вот и думалось мне: хорохорился дед Петро, когда говорил, что ни о чем не жалеет или в самом деле так оно есть? И что это было тогда, четверть века назад, — не вполне осознанный, стихийный протест против несправедливостей, инстинктивная защита от горя, от боли? Один человек закрыл руками лицо, сжался в себе, а другой побежал без оглядки, сам не зная, куда... Как он, когда силы душевные ему отказали...

Прощаясь, он долго не отпускал мою руку — крепко держал ее своими обеими, говорил что-то теплое и вдруг признался: «Вообще-то я знаю, уходить мне надо отсюда... Только куда? Идти-то ведь некуда... К сыну идти — так ведь у него у самого жизнь нескладно устроилась... Зачем ему такая обуза?» — «Но ведь он-то так не считает, наверное?» — говорю я ему. — «Он не считает, а я сам думаю так».

Уходить Овчинникову надо, конечно. Но ведь не сможет он в городе жить. И разделиться на две части, как амеба, тоже не сможет.

С дороги я оглянулся. Овчинников стоял подле дома и хоть не видел меня, подняв руку над головою, махал. За его спиной, окаймленное светло-зеленой бахромой осоки, лежало черное стекло спокойного озера. А рядом, на поляне, поросшей высокой травой, словно бы с огромными усилиями из земли выдиралась старая, покореженная трудной борьбой за жизнь береза. Причудливо изогнутая, как и многие деревья вокруг, она, казалось, вокруг себя обвязалась. Взгляд Овчинникова, пока я был еще вблизи и мог его прочитать, показался мне отчего-то растерянным. Может быть, он устал от своего изнурительного одиночества? Или, быть может, плохо переносил расставания?

Вот таким он мне и вклеился в память: старый одинокий человек возле старого одинокого дерева.

Усть-Камчатск.

1987 г.

## НА ШИВЕЛУЧ НЕТ ДОРОГИ

Смотрю на Иванова, в бессчетный раз выбегающего из лаборатории и с такой надеждой глядящего на небо в сторону Шивелуча, будто он рассчитывает на манну небесную, и думаю: ну, что он дергается? Ну что он нервничает, словно бы там, на вулкане, творятся какие-то необычайные дела глобальной важности, а он, Иванов, обязанный по долгу службы принимать в них самое непосредственное участие, вынужден бездействовать, оставаясь не у дел? Двенадцать дней назад на вулкане произошел большой взрыв (жутко жалею — не удалось мне застать и увидеть), но он-то, Иванов, видел, работал! Право же, нехорошо так жадничать...

Приблизительно такие мысли у меня возникали, когда я глядел на Сашу Иванова, руководителя геодезической группы на Камчатской вулканологической станции, уже бог знает как давно готового вылететь со своими ребятами на базу, расположенную на склоне Шивелуча — затаившегося до поры до времени и, по сути, готового в любую минуту разразиться какой-нибудь непредсказуемой пакостью. Надо отдать ему должное: характером эта горка обладает мерзостным. Да и с погодой в районе Шивелуча полный разлад: близок он, лететь-то минут двадцать, не



более; отсюда, со станции, он виден как на ладони, когда безоблачно, но в том-то и дело, что уже много дней его никто не видел как на ладони. И вот мы сидим упакованные, готовые к выброске на вулкан — сидим далеко от моря, но ждем погоды. А он, величайшей драгоценностью укутанный в пышную белую пену, стоит величественный и недоступный...

Пока же, бросая рассеянные взгляды в окно — а вдруг распогодится, — мирно беседуем с Н. А. Жареновым, руководителем вулканостанции. В основном о Шивелуче, конечно. О том, чем вызывается к его особе такое внимание и какие из своих интересов связывают с ним вулканологи.

Шивелуч огромен, хотя и не слишком высок: менее трех с половиной тысяч метров отделяют его кратер от уровня моря. Но основание его столь широко, что внутри свободно бы разместилась Москва, да еще бы место осталось. Предполагается, что расположен он на пересечении мощных разломов в земной коре, что и определяет в конечном счете его необычайную активность. Во время его последнего катастрофического взрыва вулкан всего за час выбросил полтора кубического километра вещества, рожденного в недрах Земли. Трудно вообразить столь колоссальную мощь... Гигантские глыбы весом в тысячи тонн вылетали, словно ядра из пушки, и грохались за многие километры от жерла вулкана. Мне показывали скалу весом около двух с половиной тысяч тонн, пролетевшую таким образом двенадцать километров. Человек рядом с ней не более муравья в арбузе. Так что, как видите, возможности Шивелуча заставляют, хочешь не хочешь, относиться к нему с уважением.

Что еще о нем можно сказать... То, что его буйный нрав известен давно — еще в восемнадцатом веке описывал его первый исследователь Камчатки Степан Крашенинников. И всегда, вероятно, этот вулкан, самый северный из всех активных вулканов Камчатки, был своеволен, строптив. Но потому-то и особенно интересен он вулканологам!

Саша Иванов родом из Новосибирска и, поскольку я наивно предполагал, что вулканологами не рождаются, задаю ему прямолинейный вопрос: а как, собственно, его сюда занесло? И почему он стал вулканологом?

После окончания института ему, пожалуй, было все равно, куда ехать работать, но при соблюдении одного необходимого условия: лишь бы подальше, где он еще не был и, как он выразился, «где есть на что посмотреть». Поскольку на карте страны ничего далее Камчатки ему обнаружить не удалось, а посмотреть там можно было много чего, он остановил свой выбор на ней. Тем более что на вулканостанции позарез нужны были геодезисты, каковым Иванов и являлся.

А дальше, с моей точки зрения, произошло необъяснимое: увидев вулканы, Иванов испытал такое чувство, что именно вот этой встречи с ними он и ждал всю свою предыдущую жизнь. Возможно, я несколько пристрастно сформулировал внезапно возникшее чувство в душе Иванова, но по сути, мне кажется, оно было таким. Я замечал: люди, подолгу живущие на Камчатке рядом с вулканом, оказавшись на материке, чувствуют себя как бы неприкаянными, как будто им не хватает чего-то очень для них важного. Наверное, нечто похожее произошло в свое время и с Ивановым. Только в обратном порядке: встретившись с вулканами, он понял, что именно их и не хватало ему в прежней жизни.

Очень удачно тогда получилось: на станции шел процесс обновления, приезжали молодые люди, вот и Александр Долганов, нынешний начальник сейсмометрической службы в одно время с Ивановым при-

схал, и коллектив сформировался молодой, со средним возрастом лет в тридцать, не более. И атмосфера на станции сама собой сложилась какая-то доверительная, простая, когда уже кажется, что это не просто рабочий коллектив, а скорее семья. Только большая. У меня была возможность к ним приглядеться, и я убедился, что это именно так.

Вот, к примеру, собрались Ивановы в отпуск на материк, и чемоданы уж вынесли, — и только тут глава семьи обратил внимание на то, что его дом не только не запирается, а и вообще в его двери замка нет и не было. Уходили из дома — дверь притворяли, и все дела. И другие так же живут. Кончились деньги — зашел к соседу, если его нет дома, никак не влияет: Иванов знает, где у того деньги лежат, берет сколько надо, а при встрече предупреждает хозяина: так, мол, и так, взял в долг у тебя. Нормальное дело.

Вулканология как наука в последние годы преобразилась. Если раньше огненные горы изучали геологи, то теперь в результате новых требований — более глубоких, разносторонних — пришлось использовать методы геофизики, геодезии, сейсмологию. Земная поверхность в районе вулкана как бы дышит, поднимаясь и опускаясь, и вот по этим изменениям высоты точек поверхности, по ее деформациям можно судить о том, что можно ждать от вулкана в ближайшее время. Отрабатывая нивелирный ход, внимательнейшим образом измеряя превышения точек, геодезисты с уверенностью могут сказать: ждать извержения в ближайшее время или же можно спокойно жить. Превышения они определяют вот какого порядка: всего несколько миллиметров на один километр. И еще считается, что это довольно грубо.

Теперь, по-моему, в общих чертах понятно, чем Иванов занимается, какие у него заботы и какие проблемы. Однако есть дела и попроще. Вот сейчас отчего он волнуется — время уходит, а ему там, на склоне Шивелуча, надо дырки копать. Дырки довольно серьезные — три, а лучше четыре штуки по два с половиной метра глубиной — для бетонных оснований системы гидростатического нивелирования. Само собой, бетонировать тоже самим придется. Поэтому для погрузки в вертолет мешки с цементом приготовили в первую очередь. Наука наукой, но у нее должна быть надежная база. В данном случае — бетонная.

На этот раз Саша как-то очень уж поспешно, возбужденно выбегает из дома, кричит: «Сейчас полетим!», отвязывает изнывающего от безделья Пирата — большого черно-белого пса диковатой наружности и бежит к фургону, куда давным-давно уже погружено все снаряжение. Срывается и пробегает мимо Долганов: «Сейчас вернусь!» — видно, что-то забыл, и через пару минут мы уже трясемся по грунтовой дороге, ведущей к аэропорту местной авиалинии.

Но тщетны надежды. Пока мы ехали, Шивелуч опять задрапировался облаками, и метеорологи вновь затянули свою заунывную песню уклончивых обещаний. И снова, в который раз, мы едем обратно... На Шивелуч нет дороги. Вообще никакой, кроме вот этой, по воздуху.

Даже и Пират теперь присмирел, словно бы осознав утрату последней возможности вернуться на родину. Дело в том, что вулканологи подобрали его в позапрошлом году на Шивелуче возле пустого домика нижней базы. Израненный медведем, пес часто дышал, высунув пересохший язык, и был при последнем издыхании. Рядом, изодранная в клочья, лежала его подруга. Если бы не появившиеся как нельзя вовремя вулканологи, Пирату бы, конечно, не выжить. Они его выходили, выкормили, и пес, привязавшись к ним, особенно к Иванову, порвал с бродячим образом жизни и стал вполне нормальной, культурной соба-

кой. Дом Ивановых сторожить не от кого, но Пират, видно, порешил это дело по-своему.

Что касается медведей, то отношения с ними у вулканологов сложились своеобразные, хотя и свойские. Медведи бегут на вулкан, спасаясь от комаров и от гнуса, безжалостно выедающего им морду, глаза. Так что на нижней базе, расположенной на высоте всего около километра над уровнем моря, они довольно частые гости. С удовольствием копаются на помойке, однако, несмотря на присутствие хозяев, могут вломиться и в кладовую. Случались эпизоды, когда наглых посетителей, роющихся в узком простенке меж тесно поставленными домиками, приходилось выпроваживать пинками под малочувствительный зад. Хотя, конечно же, помнили, знали: медведь может быть коварен, злобен, опасен. Особенно вот этот, камчатский: под два с половиной метра вырастает зверь, когда становится на задние лапы, а рывки делает такие, что любой спринтер позавидовать может. Вообще же и та сторона, и другая стараются поддерживать отношения на уважительном расстоянии, по принципу мирного сосуществования.

Помимо прогнозирования вулканической активности, рассказывает Н. А. Жаренов, которая, как нетрудно догадаться, имеет первостатейное практическое значение, на вулканостанции занимаются изучением вещественного состава продуктов извержения. Пепел и лава вовсе не постоянны в своем составе, зависящем от многих причин. До сегодняшнего дня здесь остается множество вопросов, на которые пока ответов не найдено. Вот лава — откуда истекает она? С какой глубины? Предполагается, что в основном с глубины порядка шестидесяти километров, и, если вспомнить, что самая глубокая из пробуренных скважин достигает шестнадцати километров, нетрудно догадаться, какую ценную научную информацию выносит лава с собой на поверхность.

Накануне извержения вулкан проявляет беспокойство и нетерпение. Он как бы вспучивается под напором внутренних сил, приподнимается иногда на десятки метров. Магматический расплав, пробивая себе дорогу к кратеру, забитому прочной, застывшей пробкой, приводит в дрожь стенки вулкана, намагничивает горные породы. Кстати, по изменению магнитного поля вблизи вулкана можно судить о вероятности извержения. Так что, как видите, у вулканологов фронт работ обширен и разнообразен. А главная, пожалуй, трудность, которую они испытывают, связана с аппаратурой. Чего-то им не хватает, как, к примеру, необходимых им лазерных дальномеров, вычислительной техники и персональных компьютеров. Современные требования, предъявляемые к их науке сегодня, требуют и современной технической оснащенности. Ликвидировать дефицит в приборах они своими силами, конечно же, не могут, хотя многое делают своими руками.

Тенденция в вулканологии сейчас такова, и она явно прослеживается, — все большая автоматизация ведущихся наблюдений. Об этом мы говорили с Александром Долгановым. Уже в самое ближайшее время, рассказывал он, у вулканологов появится машина на базе мини-ЭВМ, которая будет собирать данные и их обрабатывать, что, безусловно, вооружит ученых оперативными данными. То, что происходит сейчас, уже давно никого не устраивает: добытые на склонах вулкана оперативные данные проходят обработку в институте и лишь где-то через полгода возвращаются в обработанном виде. Теряется смысл их главной задачи, объяснил мне Долганов, по поиску и выявлению предвестников извержений и землетрясений.

А я, слушая его, думал вот о чем. Внедрение автоматизации в эту профессию неотвратимо — вопрос только во времени. Вот появятся эти автоматические станции, и вулканологам не надо будет часами и днями, как мы теперь, высиживать, выжидая погоду. Уйдут в прошлое вот эти бесконечные бдения на склонах огнедышащих гор в ветхих домиках, максимально приближенных к жерлу кратера. Развееется романтический ореол нелегкой, благородной профессии. И уж, конечно же, небезопасной.

Вспомнился случай, происшедший не так давно с Ивановым. Работал он в домике на Безымянном вулкане во время сильного извержения. Хотел остаться переночевать, но потом какие-то дела увлекли его на нижнюю базу. Утром поднялся сделать новые снимки, а домик — в щепы. Прямым попаданием. С благодарностью подумал о своем providении: домой бы не вернулся, конечно, если бы остался тогда на ночевку.

А с другой стороны, подумал я в защиту романтики, автоматика, возможно, и отдалит вулканологов от места главных событий, но вряд ли смогут они замкнуться в лабораториях. Не те это люди. Для них радость, быть может, и счастье ощущать ногами упругую дрожь земли, когда идет извержение, видеть пышущие глубинным жаром потоки лавы. Разве не дыхание самой Земли ощущается в такие минуты... И разве не подумаешь и о себе в те мгновения как-то сторонне и обособленно, об обыденной жизни: кто ты и зачем на этой земле...

Саша Иванов смотрел долго в окно, молчал все, а потом произнес: «Знаете, вот стоишь, смотришь на извержение и думаешь о себе не без иронии: нет, все-таки, чтобы там ни говорили, ты не властелин природы...» И очень хорошо, что он думает так. Рано нам, а может, и вообще не надо ощущать себя властелинами природы. Рачительными хозяевами — дело другое.

...И вот я тоже гляжу в окно на московские тополя, так и не повидавшие жаркого лета в этом году, и вижу сухую, бесплодную почву Шивелуча, его камни, опаленные в недрах огнем, застывшую лаву, плавное, беззвучное струение газов, нашедших выход в скрытых от глаза расселинах, коричневым пеплом присыпанные ледники, белые тени облаков, оставляющие клочья на острых выступах скал. Не Земля это — другая планета...

Но здесь, в двухстах метрах от кратера, готового в любую секунду взорваться мощью тысячи бомб, стоит Иванов и, рассеянно поглаживая взерошенный загривок Пирата, думает о чем-то своем.

1987 г.

Ключи-Шивелуч, Камчатская обл.

## ЖЕСТОКИЙ ОСТРОВ

Что же творилось в душе Петра Тайбаря, когда он, уже потерявший счет дням, проведенным на этом необитаемом, голом, как камень, острове, измученный голодом и промерзший насквозь, услышал, а потом и увидел в сумрачном небе неведомо как залетевший в эти края вертолет... Петр не сомневался, что их давно перестали искать. Он бегал, метался по острову, махая руками, пытался что-то кричать, но звуки, вылетающие из застуженной глотки, и сам едва мог услышать.

Дым от костра струился слабо и, наверное, при взгляде сверху сливался с землей. Прострекотав над пустынным морем, вертолет скрылся, оставив только смятение и безнадежность в душе Тайбаря. И тишину, давление которой казалось невыносимым и от которой хотелось кричать...

Студеная, с ветреными морозцами стояла осень на Баренцевом море. Петр знал, что раньше конца января, а то и начала февраля лед на море не станет, а это значит не меньше трех месяцев ждать возможности — слабой и ненадежной — преодолеть море по льду и выйти на землю. И все-таки он очень на это рассчитывал. Он не знал, сколько в точности от острова Долгого до материка, хотя родился и всю жизнь прожил в здешних краях, и полагал, что километров сорок, не менее. Он ошибался наполовину, но и те двадцать километров оставались для него неодолимой преградой.

Он вернулся в избушку — ветхое, неизвестно кем и когда поставленное строение, с окнами, затянутыми пленкой вместо стекол, и продуваемую насквозь, как решето, опустил возле стены на ящик и, уперевшись о колени локтями, закрыл руками лицо. Дома его никто не ждал, так ведь и здесь никто не держал. Кроме вот этого холодного, жестокого острова.

...Тот день, переломивший его размеренную и, в общем, спокойную жизнь, начинался обычно, обыденно, как и всякий другой. Серое утро, пустой дом, остывший за ночь, лай собак в отдалении. Поселок маленький, и звуков немного в нем. Но это был и особенный день: Петру исполнилось тридцать шесть лет.

Ростом он невелик — с метр пятьдесят, вряд ли поболее, и в плечах не широк, так что сзади свободно за мальчишку можно принять. Но лицо уж в морщинах, и взгляд умудрен — видно, пожил человек, и хлеб не просто ему доставался. Но в тот день, как мне кажется, он сделал роковую ошибку: не надо было уже после обеда, пусть и с расчетом вернуться под вечер, отправляться за рыбой. Однако же рыба кончилась, а дом ненца без рыбы — это все равно что дом русского человека без хлеба. В магазине продаются кое-какие консервы, лежат олени мослы с присохшими намертво клочками мяса, есть мука, борщ украинский, хорошие конфеты из Ленинграда и куриные яйца. Так ведь не станешь же изо дня в день кормиться одними яйцами с хлебом...

Рыбачить поехал вместе с Сергеем Лагейским. Он младше Петра на пять лет, но много крупнее, сильнее. Они дружат с детства, дома рядом стоят, и разделяет их только небольшая поляна.

Собирались поехать на речку Черную, всем так в Варандее и говорили, но планы по ходу дела, уже в дороге, менялись самопроизвольно, случайно. Море лежало спокойно, идти по нему на казанке — одно удовольствие. Петр заметил, однако, что Сергей временами брался правой рукой за грудь, потом потирал там, где сердце. Поймав взгляд Петра, произнес: «Покалывает что-то... Наверно, погода изменится...» Сердце его не обмануло.

К вечеру они не вернулись, да и не могли бы вернуться. К вечеру дошли только до устья реки Бочурки, где в одинокой избушке повстречали охотника, вместе переночевали под кстат подвернувшимся кровом, и лишь к полудню добрались до деревни Черной, откуда охотник тот был. Бензина в лодке немного уже оставалось, так что охотник очень выручил их, отлив литров двадцать горючего.

Рыбачить недолго, но довольно удачливо, возвращались не с пустыми руками. Сергей сел на руль и повел лодку в море, чтобы обойти

длинную и мелководную песчаную кромку, перекрывающую дорогу до-мой вдоль побережья. Петру показалось, что они уже достаточно далеко в море ушли, пора бы и переложить руль в поворот, к тому же быстро темно, и берег превратился в едва приметную, сливающуюся с морем и небом полосу. Петр говорил Сергею, чтобы тот выворачивал, но тот отвечал, что надо еще немного пройти и тогда с правой руки откроется мыс Песяков и маяк на нем — вот тогда-то и ясно станет: пора — не пора.

Тьма сгустилась. Ветер посвежел и поднял резкую зыбь. Свет маяка нигде не проблескивал — напрасно до боли в глазах искали его. Им бы тут заглушить двигатель и спокойно дожидаться рассвета, а они приня-лись рыскать по сторонам, надеясь неизвестно на что. Только на случай.

И в самом деле, то Петру, то Сергею казалось — вот он, берег, на-дежная, твердая почва, с ним и конец бесплодным метаниям, и опреде-ленность появится, если только их вынесет к берегу. Однако же нет. Бе-рег растворился, затаился неизвестно в какой стороне.

Утро встретили в тишине. Бак был пуст. Лодка стояла, покачиваясь. Во все стороны, куда только взгляд доставал, расстилалось холодное, свинцовое море. Петр зябко передернул плечами, оглядел кучу наваги, поблескивающую тусклым серебром на дне лодки. Еда на первое время есть.

Ветер, словно бы накопив за тихую ночь силы, резко усилился, вол-ны стали круче, наглее. В скором времени болтанка настолько усили-лась, что стало сидеть невозможно. Тогда они легли, вцепившись в ледя-ные металлические шпангоуты лодки. Оба думали лишь об одном: толь-ко бы не выкинуло за борт. Даже если бы и плавать умели, в такой воде более десяти минут на плаву не продержишься. Но у них даже и этих десяти минут не было, поскольку плавать они не умели.

Шторм меж тем все крепчал. Лодка вертелась, подпрыгивала, слов-но яичная скорлупа в кипящем котле, кренилась на один борт, мгновен-но и на другой, зарывалась носом в волну, становилась почти вертикаль-но. От постоянного напряжения и холода пальцы сводило, но никакая сила не смогла бы оторвать их от лодки, наверное. И если бы хоть немного бензина...

Они давно уж промокли насквозь и на сильном ветру простыли до самых костей. Разумеется, они не знали, что при температуре в минус пять градусов и при силе ветра в десять метров в секунду воздействие холода на организм человека такое же, как при морозе в двадцать три градуса; они этого не знали, но теплее от того им не становилось. В лод-ке оставалось всего две рыбины, остальное волной вымыло за борт, но и этих съели в первый же день — сырыми. Спичек не было, даже и но-жа не взяли с собой — ведь собирались вернуться к вечеру...

Сколько носило по морю, они сказать не могли. Суток трое или четверо, скажет потом Петр, но окажется — пятеро. Шторм не стихал, мотало безбожно, мокрая одежда не оставляла надежды хоть как-то со-греться. Но Петра беспокоило даже не это, а то, что Сергей сникал на глазах. Сердце у него почти непрестанно болело, он лежал неподвижно и только раз, разжав побледневшие губы, сказал, что не верит в спасе-ние.

А Петр надежды не оставлял. Островов вокруг множество, к како-му-нибудь да прибьет. Сколько таких на памяти случаев...

Случаев подобных в этих краях много бывало. Вот не такой и дале-кий. Николай Воронов, командир звена вертолетов, работающих здесь на геологов, с которым мы вместе летали над тундрой, рассказывал: уне-

сло в море такую же лодку-казанку с тремя рыбаками-ненцами. Приказ о поиске Воронов получил под вечер, когда до темноты всего пара часов оставалась. Вылетел сразу же, хотя и понимал, что найти в штормующем море лодку — дело почти безнадежное. Так и случилось. Летал до полной тьмы, потом и на другой день, на третий, и не один летал, разумеется, люди исчезли.

Другой недавний случай. Тоже лодку с тремя рыбаками искали. В море, неподалеку от берега, мотор заглох. Мимо шли другие рыбаки и предложили помощь — взять на буксир, а те трое лишь отмахнулись: сами справимся. Лодка ушла, а вскоре поднялся ветер с материка, лодку с молчащим двигателем понесло стремительно в море, и ничего с этим невозможно было поделаться. Опять тревожные поиски, полеты по квадратам над морем, но тщетно: рыбаки бесследно пропали. «Я удивляюсь, — говорил Воронов, — ведь все они родились и выросли в этих краях, знают, какая это опасность — арктическое море, так почему в тех эпизодах вели себя так легкомысленно?»

Мне же вот о чем тут подумалось. Действительно, ветерок легкомыслия сквозит буквально в этих трагических происшествиях. Всегда люди что-то не додумывают, что-то не предусматривают и чем-то пренебрегают. Продумать и предусмотреть далеко не всегда все возможно, но можно ли в Арктике пренебрегать даже и мелочью? А раз так, то, может быть, не такие уж случайные все эти случаи... Возможно, люди считают, что если они здесь с детства живут, если здесь их дом, если и море, и земля им известны так же, как дом, то что же ужасного с ними здесь может случиться? А ведь это — холодная, пустынная земля и суровое, беспощадное море...

Так что же, выходит, постоянная жизнь в экстремальных условиях не только не поддерживает тонус бдительности, а наоборот, угнетает его? Или, возможно, это слишком уж обобщающий вывод, и он далеко не ко всему применителен? Не знаю. Только очень уж все похоже в тех жутких историях...

О легкомыслии этих двоих можно говорить лишь включая то время, когда они бездумно носились в потемках по морю. Это была роковая ошибка. Далее же они действовали соразмерно своим возможностям и обстоятельствам. Собственно говоря, ничего не делали. Они выживали. Более в таком положении ничего другого не оставалось. Отдавшись на волю волн и течения, они уповали на случай. Но слишком уж плох был Сергей...

Море по-прежнему трепало суденышко, захлестывая свирепыми гребнями, несущими густую кашу из шуги — смеси снега и первого тонкого льда. Петр снова и снова вычерпывал воду из лодки, Сергей же бессильно лежал, едва удерживаясь за шпангоуты побелевшими пальцами. Невыносимо, просто смертельно хотелось пить.

Иногда, побуждаемый жаждой, Сергей находил силы подняться, черпал морскую воду и пил. Петр его останавливал, уговаривал — ни в коем случае нельзя ее пить, но Сергей не мог устоять.

Весла были, конечно, но разве совладаешь с ними, когда море кипит, когда мысли об одном — как бы не выкинуло за борт, в ледяные, не знающие усталости волны... И все же эти двое пытались сопротивляться. Брался за весла Сергей — еще в первые сутки, потом оставил их — очень болело сердце. После того все время лежал. Петр часто садился за весла — ради того, чтобы согреться, хотя вскоре бросал: куда грести? Может, каждый гребок еще далее их уносит от берега...

И вот в какой-то из дней, когда ни сил, ни надежды уже не осталось, перед ними неясным видением возвысился берег. Через какое-то время лодку уже колотило о прибрежные камни.

Но выбраться на берег долго еще не могли. Лодку швыряло так, что было невозможно подняться на ноги. Петру к тому же приходилось Сергея поддерживать — того силы покинули. А берег поднимался круто, высоко. Каменистая осыпь вязко хватала за ноги, и Петру, худому и маленькому, тащившему товарища на себе, приходилось особенно трудно. Но он все же осилил казавшийся бесконечным подъем.

Земля открылась голой, песчаной, и Петр, опустив Сергея на кусок брезента, прихваченный с лодки, выпрямился и огляделся. Да, это остров. Он посмотрел вниз, туда, где оставалась лодка. Днище ее, видимо, было пробито, борта покорежены, и она, наполнившись водой, словно пустая консервная банка, быстро скрылась под волнами. Ну вот, теперь отсюда самим им не выбраться... Он вновь огляделся. Ему показалось: вон там, впереди, темнеет что-то — похоже, избушка. Быть может, в ней их спасение...

Петр повернулся, чтобы сказать Сергею об этом, и увидел, как тот, подтягиваясь на руках, подполз к лужице и, припав к ней, принялся пить. Рядом было озерцо с пресной водой, но до него добраться у Сергея сил не достало. Он сделал несколько глотков и вдруг как-то обмяк весь и больше не двигался. Петр подошел, склонился над ним осторожно перевернул. Сергей не дышал...

Старый Варандей-поселок совсем небольшой, всего-то с десятков домов, и врача в нем, конечно же, нет. Но есть фельдшер — Оксана Лагейская, и к ней люди приходят, как к доктору, со своими хворобами. Оксана всю жизнь живет в этом поселке и окончив медицинское училище вернулась на работу домой. Я спрашивал ее о Сергее.

Он обращался за помощью — не раз и не два, — сердце часто его беспокоило. Сергей был молод, тридцать один год для мужчины — расцвет, можно сказать, но это для здорового мужчины. Сергей же здоровым не был...

Но умер он не из-за сердца, скорее всего от длительного переохлаждения и истощения. И от того, что пил морскую воду.

Чем же тогда жил и чем же держался Петр? Люди по-разному переносят одни и те же условия. Вот Петр — маленький, хрупкий, но он постоянно твердил себе, уговаривал будто бы другого человека, в нем поместившегося: надо выжить. Мне обязательно надо выжить.

Он перенес Сергея подальше от берега, на возвышение, укрыл своей теплой курткой — почему-то ему казалось, что обязательно надо теплой курткой укрыть, и заложил тело камнями, какие сумел оторвать от земли, чтобы песок не добрался.

Ну вот, теперь он один.

К той избушке — он надеялся, что это избушка, Петр добирался почти двое суток. Полз, погружался в беспамятство, снова полз, поднимался, пытаясь идти, и снова нырял не то в сон, не то в глубокий обморок, когда совершенно не мог себя ощущать. На прямую могло бы получиться едва ли более десяти километров до этой избушки, но приходилось обходить бесконечные озерца, бочаги — вот и получилось почти двое суток, хотя, если бы по нормальному его состоянию, на тот путь часа бы два потребовалось, навряд ли более. Когда он забывался и замирал, на земле распластавшись, становилось как будто немного теплее: видимо, потому, что земля согревалась теплом его простывшего тела. А сверху почти не прекращавшийся дождь со снегом, и одежда, промокшая до



тела, липла противным пластырем, от которого и хотелось бы, да невозможно было избавиться...

Избушка, ветхая, исхлестанная ветрами до черноты, просевшая на бок, стала для него спасительным прибежищем. Он отворил дверь, вошел. Унылый беспорядок и пустота. Но, быть может, найдется хоть что-нибудь из съестного...

Пустой деревянный ящик. Нары. Тряпье в углу — ему Петр очень обрадовался, и снова счастливая находка — окурки. Курить давным-давно несносно хотелось. Потом — старая, потрепанная карта Архангельской области, пара твердокаменных булок, проросших сизой плесенью, пожелтевшие листы бумаги, карандашный огрызок и — счастье — почти полная коробка спичек! Тут же нашлась железная банка с коровьим жиром, наполовину пустая, а за домом — бочка с соляжкой. Значит, тепло в доме будет.

Первым делом он закурил. В глазах поплыло, но это была уже приятная слабость. Потом раздробил в мелкие крошки булки, ссыпал в какую-то ущербную посудину, залил водой и поставил на огонь, кинув туда же жиру. Едва дождавшись, когда закипит, отпробовал варева. Восхитительно вкусно! Съел только бульон, гущину оставил предусмотрительно: хлеба больше не будет. Раздевшись, чтобы просушить одежду, завернулся в тряпье и, впервые за множество дней согретый, измученный пережитым, сразу уснул. Он спал мертвецким сном и снов не видел.

Дни на острове Долгом потянулись длительно, однообразно. Теперь он уверился, что это именно Долгий — в избушке нашел на стене надпись, тому подтверждение. Вставал рано, кипятил воду, благо на острове ее было в избытке, выковыривал из банки экономный кусочек жира, кидал в кипящую воду, размешивал. После завтрака заставлял себя выйти на улицу и, зябко кутаясь, бродил по острову, собирая выброшенный морем плавник — мелкий сушняк, потом возвращался, подтапливая печь, грелся какое-то время подле нее и вскоре отправлялся на промысел.

Снег еще не лег основательно, и это было подлинным счастьем, потому что земля открывала низенькие кустики ягеля с белыми, сочными, сладковатыми ягодами — хоть и не россыпи, но все же можно набрать. Отыскивал Петр и корни нерако, или золотого корня, как его еще называют, — знал, что вполне съедобны они. Было бы только побольше этих питательных целебных растений... Но главную добычу составляли крылья погибших чаек. Ощипав их, он хорошенько вываривал, и получался хоть и слабенький, но все же мясной бульон. Он не думал о тех, совсем уже близких, неотвратимых днях, когда снег ляжет и останется уже до весны, сокрыв все бесценные и одновременно такие скудные сокровища. Олени и зимой кормятся ягелем, выкапывая его из-под снега, но вряд ли то же самое сумеет сделать и человек — голодный и истощенный.

...Вместе с Николаем Вороновым расстилаем на столе штурманскую карту побережья Баренцева моря и ищем Долгий. Вот он. Похож на краюху обглоданного швейцарского сыра. Каждая дырочка — озерцо. А еще он похож на клочок рваного кружева, как и все побережье примыкающей к морю Большеземельской тундры. «Над Долгим мы очень редко летаем, — говорит Николай, — но все же летаем...» Никто из летчиков Тайбаря не видел.

Остров большой: с севера на юго-восток он простирается километров на тридцать, по ширине приблизительно везде одинаков и в самом

широком месте достигает четырех километров. И, как во всей тундре, ни единого дерева... Унылый, жестокий остров.

Живность на острове кое-какая водилась. Птиц в это время года не было, несколько раз мелькали песцы, однажды явился заяц и застыл ошарашенно, в потрясении глядя на человека. Петр поднял камень, а бросить сил не осталось. Охота не получилась. Выходит, надежда только вот на этот, подножный корм.

День тянулся за днем, одинаковые, как близнецы, холодные и голодные. Однако он продолжал жить, несмотря ни на что, а точнее сказать, вопреки всему. И убеждал, уговаривал — не столько себя, сколько другого человека, живущего в нем и готового иногда сдаться совсем, лечь в угол, где меньше дует, завернуться в тряпье и уснуть — с тем, чтобы уже не проснуться, убеждал в том, что выжить он должен. Нет, Петр Иванович Тайбарей умирать не хотел.

Как-то он подсчитал, сколько скопилось карандашных отметин, которые каждый прожитый день ставил на обрывке бумаги, и удивился: 28 дней он один здесь. Позже рядом с этими отметинами одна за другой появились еще восемь. Еще восемь отвоеванных дней для жизни. Но сколько дней предстоит тут прожить, дожидаясь, пока на море образуются лед... Да и сможет ли он преодолеть те километры, отделяющие остров от материка, без лыж, без еды, без огня — не потащишь же на себе запас дров на весь этот путь... И вновь сомнения одолевали его.

Однажды померещилось, еще в первые дни на острове: где-то бесконечно далеко впереди слабо мерцало созвездие желтых огней. Может быть, буровая? Он знал, что в ясную погоду огни буровой видны километров за пятьдесят, но что толку, если та буровая для него как иная планета...

Он привык к своей слабости, к тому, как на каждом шагу подгибаются ноги, и в глазах все плывет, и постоянно хочется спать, но привыкать к мысли, что останется здесь навсегда, не собирался. Думается, вот такое внутреннее сопротивление было его решающей жизненной силой.

Их, конечно, искали. Их — потому что никто не знал и не мог знать, что Тайбарей давно уж один. День за днем бороздили небо вертолеты, рыскали по тундре вездеходы, но совсем не там, где надо было искать. А кто знал, где именно надо... Вдобавок, с пассажирской «аннушки» поступило сообщение о том, что в районе реки Бочурки летчики видели пустую казанку такого же цвета, как и та, на которой ушли Петр с Сергеем, — и поиски переместились в этот район. А через несколько дней, напряженных, бесплодных, родственники исчезнувших, подавленные горем, отчаявшиеся, сказали: «Больше не надо искать».

И вот утро, которое он никогда не забудет. Вышел из хижины и сразу застыл: неподалеку от берега, с подветренной стороны, укрываясь от непогоды, стояло судно.

Петр кинулся к давно приготовленным кострам, полил остатком солярки, поджег. Он бегал по острову, кричал и сам не слышал себя, размахивал руками, но танкер стоял как летучий голландец — безмолвный, бесстрастный. До позднего вечера жег костры Тайбарей, пока не прогорели дотла. Тогда, совершенно потерянный, опустошенный, вернулся в дом; кажется, он не чувствовал, как по лицу лились слезы.

Утром не стал выходить на улицу. Зачем зря будоражить себя... Принялся растапливать печку и гнал прочь всякие мысли о танкере. И

тут раздался стук в дверь. Он подумал: послышалось. Но дверь распахнулась.

На судне его окружили заботой, вниманием, хотя и вопросами мучали. Судовой врач, Петра обследовав, кормить запретил, а разрешил только выпить чаю с сахаром. И было все замечательно, тепло и вкусно... Его потянуло ко сну.

...Петр Тайбарей пережил беспримерную робинзонаду. Выжить поздней осенью в Арктике, не имея ничего, что помогло бы в борьбе за жизнь в течение сорока одного дня, — такого еще не бывало. Робинзон Крузо в сравнении с Петром Тайбареем вел на своем необитаемом острове просто-напросто райскую жизнь. В досье, где я собираю подобные случаи вот уже двадцать с лишком лет, тоже не удалось отыскать хотя бы отдаленно что-нибудь подобное по драматизму и по суровости условий жизни.

Вкратце рассказал об этой истории В. Г. Воловичу, доктору медицинских наук, ведущему нашему специалисту по проблемам выживания человека в экстремальных условиях. Он согласился, что случай во всех отношениях удивительный, и задал вопрос: а как были одеты Тайбарей и Лагейский?

На Сергее — фуфайка с воротником из искусственного меха, свитер и сверху тонкая брезентовая куртка. Брюки обычные, хлопчатобумажные. На ногах — резиновые болотные сапоги. А Петр был одет в рубашку, поверх которой шерстяной свитер, фуфайка и утепленная штормовка, которой он накрыл потом Сергея. Из тонкого брезента брюки. На ногах тоже высокие сапоги. На каждом — меховая шапка-ушанка. Все это оказалось мокрым насквозь, когда их прибило к острову. В сущности, Петр был очень легко одет во время жизни на острове.

Что еще можно сказать об этой страшной истории?.. То, что она, как и всякое приключение, в котором человек сталкивается один на один с жестокими природными силами, борется и побеждает, обогащает наш общий жизненный опыт, наполняет нас еще большей верой в себя. И, конечно же, дает бесценный материал для науки, раскрывая возможности человека — как физические, так и моральные.

Мне говорили, что Петр изменился после своего возвращения. Он не любит теперь бывать в одиночестве, стал более замкнутым и молчаливым. Рассказывать о том, что пережил в заточении на острове Долгом, отказывается категорически. Чуть было и я не уехал ни с чем. Почти четверо суток до него добирался — и вот такая осечка... Уж и не знаю, как удалось его разговорить...

Перед тем, как уехать из Варандея, я долго стоял и смотрел на большой и добротный дом, где жили Лагейские, но постучать и зайти — нет, не решился. Смотрел на распахнутые ставни, аккуратно выкрашенные с внутренней стороны голубой краской. На одном окне старательной рукой нарисованы ромашки, на другом — забавный волк из мультфильма «Ну, погоди!».

Наверное, это Сергей рисовал для своих ребятишек...

1988 г.

Ненецкий национальный округ, поселок Варандей.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Рыбы стучатся в окно . . . . .	3
В гондоле над облаками . . . . .	7
До встречи! . . . . .	11
Неуловимый Пермяков. . . . .	15
Мужская компания . . . . .	18
Идем на циклон . . . . .	20
Здравствуй, Луанда — прощай, Луанда! . . . . .	23
Следы в песках . . . . .	36
Одиночество . . . . .	43
На Шивелуч нет дороги . . . . .	52
Жестокий остров . . . . .	56

Леонид РЕПИН

ДАЛЕКО, ЗА ПОВОРОТОМ

Составитель Я н ч у к Г. В.

Редактор Ю ф е р о в а Я. Б.

Художник С и н ь к о в с к и й В. А.

Технический редактор С у р о в ц е в а С. И.

---

Сдано в набор 24.03.89. Подписано к печати 06.04.89.  
Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура  
«Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 3,36.  
Усл. кр.-отт. 3,68. Учетно-изд. л. 5,28.  
Тираж 110000 экз. Заказ № 462.  
Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции  
типография имени В. И. Ленина издательства  
ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП. Москва.  
А-137, улица «Правды», 24.